

укладов, не оставляет человечеству других, запасных выходов, путей развития.

Покорившая практически весь современный мир, универсальная цивилизация обычно называется индустриальной или технологической. Главная её особенность, её сущность, заключается в том, что человек всё более подчиняется требованиям производства и техники. При этом, как замечает Жак Эллюль (1), техника здесь понимается в наиболее расширительном смысле: как стандартизованные, отработанные пути достижения цели, включая, например, технику пропаганды, политической борьбы, биржевой игры или спорта. Машина – это только идеал, к которому стремится техника, техника в чистом виде. И даже шире, технологическая цивилизация вытесняет из мира всё живое, естественно выросшее, и замещает его искусственным.

Окинув взглядом 300 лет истории технологической цивилизации, мы увидим всё ускоряющийся процесс уничтожения Природы и замены её техникой (в самом широком смысле). Яркий показатель, измеряющий этот процесс, – скорость пожирания деревни городом. Деревня не уничтожена полностью всего лишь потому, что расплатой была бы голодная смерть. Но с поразительной изобретательностью создаётся такая система сельского хозяйства, при которой как можно меньшая часть работающих жила бы в деревне и хоть как-то соприкасалась с природой. В США фермеры составляют 3–4% населения, хотя на сельское хозяйство работает 25–30% всей экономики (в машиностроительной, химической промышленности и т. д.). Кажется, что жизнь в деревне, контакт с природой для туземцев

этой цивилизации – опаснейшее состояние, от которого она их всеми силами оберегает.

Неоднократно описывалось (да и каждый испытывал это на себе), как технологическая цивилизация обрекает человека на искусственное существование в искусственных условиях. Мы всё больше живём среди механизмов, приспосабливаясь к правилам и стилю их работы. Как писал Стейнбек, он дошёл до того, что, встречаясь с человеком, задумывался – в какую щель этого автомата надо опустить монету, чтобы он заработал? Реальная жизнь создаёт ещё более фантастические ситуации – например, живут уже тысячи людей, выращенных в пробирках. Возможные последствия «генной инженерии» (искусственное создание наследуемых признаков путём «хирургии» клетки) сначала так ужаснули учёных, что был объявлен добровольный мораторий на такие исследования, но продержался он не долго.

Переворот, создавший в исторически очень короткий срок технологическую цивилизацию, обычно называется научно-технической революцией. Это название и его сокращение – НТР – встречается во всех языках. Такое систематическое употребление термина не может быть случайностью, язык не обманывает: мы действительно имеем дело с революцией, произведённой «научной техникой», т. е. техникой, основанной на науке (ср. «пролетарская революция», «буржуазная революция...»). Как и всякая революция, она тоже уничтожает старый уклад жизни, в особенности духовную структуру общества и человека (в предшествующих

революциях это называлось «созданием нового человека»).

Например, один из крупнейших биологов этого века Конрад Лоренц обращает внимание на то, что вопрос о гуманности, нравственности, моральности некоторого образа действий возникает, только если объектом его является живое. В противном случае речь может идти лишь о более или менее целесообразных действиях. Современный же человек в своей деятельности всё реже сталкивается с живым. Поэтому он отучается от оценки своих действий с точки зрения их нравственности и гуманности и оценивает их лишь с позиций целесообразности. Такую установку он переносит уже и на действия, направленные на живое. «Вот почему, – говорит Лоренц, – когда современный человек сталкивается с чем-то. живым, он быстро его уничтожает» (2). Это относится, добавим от себя, к колоссальному спектру действий – от уничтожения многих видов насекомых при помощи ДДТ до уничтожения коренного населения Тасмании.

Всё более зловещий характер, который приобретает цивилизация, чувствовали, конечно, и раньше. Например, К. Леонтьев, писавший «против машин и вообще против всего этого физико-химического умственного развития, против этой страсти произведениями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами и основными силами природы разрушать растительное многообразие, животный мир и самое общество человеческое, долженствующее быть организацией сложной и округлённой, наподобие организованных тел природы» (3).

В технологической цивилизации

сознание людей формируется, унифицируется и направляется гигантской индустрией средств массовой информации. Средства информации определяют человеку цели жизни и средства их достижения, его нравственные принципы, эстетические вкусы, политические и национальные симпатии и антипатии. Некоторые факты вносятся в сознание под колоссальным давлением, занимают в нём громадное место; другие – из информационной картины просто вычеркиваются. Средства информации, по существу формируют иную, искусственную действительность. Мы были свидетелями этого в ленинско-сталинско-брежневское время. Но такова же точно и ситуация на Западе, средства информации которого, например, вычеркнули из картины тогдашнего мира голод, сопутствовавший коллективизации в нашей стране. Или сделали центральным событием советской жизни 60-х и 70-х годов ограничение еврейской эмиграции – когда во всей стране господствовала система прописки, а колхозники вообще не имели паспортов и не могли выехать из своего колхоза!

Из всех средств массовой информации наиболее совершенным является телевидение. Это как будто фрагмент из фантастического рассказа об искусственном человечестве будущего: реальная жизнь заменяется жизнью «в ящике». Уже автору книги невозможно задать вопрос. Но в телевидении нельзя даже взглянуть на предшествующую страницу: не говорил ли он там нечто противоположное? И нельзя перелистнуть скучные страницы. Можно только покорно слушать слово за словом. Так формируется сознание хуже рабского: управляемое. А в то же время американ-

ский школьник проводит больше времени в общении с телевизором, чем в школе с товарищами или родителями. Ещё драматичнее ситуация у нас, когда работающие, занятые хозяйством или просто усталые родители счастливы пристроить детей к «ящику». У более взрослых американских юношей товарищем их игр и учителем является компьютер. Несомненно, скоро так же будет и у нас.

Создаётся поколение людей, воспитанных машинами, а не человеком. Эффект можно себе представить по рассказам о детях, воспитанных животными (чаще всего – волками). Когда этого ребёнка находили скоро, то он восстанавливал человеческие черты, но если он пробыл среди животных больше двух лет, то, как правило, не мог восстановить ни речь, ни прямое хождение. Таким же образом технологическая цивилизация создаёт тип человека, который по духу всё ближе технике и машине и всё меньше чувствует своё родство с природой и даже людьми. Ему, например, ближе, понятнее бензопила, чем лес, который она губит, или бульдозер – чем поле, превращаемое им в подобие лунного пейзажа.

Отличительным признаком технологической цивилизации является, как говорят, её «динамичность», т. е. связанный с нею взрывообразный рост. Это рост производительных сил, научных исследований и числа научных публикаций, населения, размеров городов, мощностей военных средств разрушения. Растут скорости передвижения, достижимые расстояния (Луна, Марс, Сатурн...). Все эти величины растут в геометрической прогрессии, т. е. экспоненциально. Их графики очень похожи

друг на друга и, как правило, приводят к абсурдному, катастрофическому результату в начале XXI века.

Речь идёт о расширении, логика которого не ставит ему никаких принципиальных границ, т. е. о неограниченном расширении. Представление о естественных, предопределённых границах, о своей форме – фундаментальное свойство всего живого. Газ распространяется в тех пределах, в которых его удерживают искусственные стенки. Кристалл тоже теоретически растёт неограниченно, его «границы» определяются каким-то внешним воздействием. Но зато у любого живого существа знание его формы – всего организма, его органов, клеток – есть, как говорят биологи, самое загадочное свойство, наиболее радикальное отличие от неживого. Когда какая-то группа клеток теряет это представление, знание формы, – мы имеем злокачественную опухоль. И вряд ли случайно различные аспекты технологической цивилизации сопоставляли с раковой опухолью. Например, Дж. Гексли – демографический взрыв: возникновение одного центра стремительного роста населения (например, в Порто-Рико) и далёкие выбросы (например, в городах США) представляют, как он говорит, пугающую аналогию с известной картиной рака и метастазов (4). (Гексли – автор известных исследований рака и в то же время – крупный деятель ООН в связи с развивающимися странами и экологией.)

Идеологическим отображением этого беспрецедентного в истории взрыва и в то же время его санкцией, оправданием, является концепция прогресса – идейный базис технологической цивилизации. Сначала кажется,

что концепция эта вполне понятна, но на самом деле детализировать её трудно. То есть трудно дать понятный ответ на вопрос: что именно прогрессирует? Прежде всего, очевидно, что оценка «прогрессивности» очень субъективна, зависит от того, исходит ли она от благополучного североамериканца или от аборигена Австралии, от того, оценивается ли объём произведённой за 1 год человечеством продукции – или чистота воздуха. Представление о «вечном прогрессе» не является каким-то исконным, самоочевидным свойством человеческого сознания (поэтому и не требующим уточнения). Оно как раз сравнительно недавно стало господствующим, раньше историю описывали по-другому: например, как постепенное вырождение, когда на смену «золотому веку» приходит «медный», а за ним – «железный», мудрость и благополучие видится в древности. Или как вечное повторение одних и тех же циклов. Легче заметить, чем не является история с точки зрения концепции «прогресса». Она не мыслится как стремление к некоторой цели, достижение полноты, идеала. Прогресс понимается как неограниченное добавление принципиально однотипных составляемых. Но зато сам процесс изменения воспринимается как некоторый положительный принцип. Всё прошлое оценивается как малоценное сравнительно с будущим, прошлое охотно приносится в жертву будущему. Это было особенно ярко заметно у идеологов концепции прогресса в период её становления (XVII в.). Они всеми способами выражали своё презрение к «древним» – науке и искусству античности. Их произведения полны нападок на Аристотеля. Декарт гордился тем, что забыл гре-

ческий, который учил в школе. Перро писал: «Платон скучен, Гомер теперь писал бы куда лучше... Прошное воспринимается как эпоха власти «предрасудков». Д'Аламбер писал: «Хорошо, если бы можно было уничтожить историю».

Экономический уклад, соответствующий технологической цивилизации, В. Зомбарт (5) называет «высокоразвитым капитализмом» (*Hochkapitalismus*). Он стал приобретать отчётливые черты в конце XVIII – начале XIX в. Коротко Зомбарт характеризует его сущность как «деконкретизацию мира, сведение его к абстрактному принципу денег, разрушение конкретности и многообразия». (В следующих ниже цитатах из Зомбарта нужно иметь в виду, что термин «капитализм» он применяет именно к этому специфическому экономическому укладу.)

«Капитализм возник из ростовщичества», – говорит он. В ростовщичестве устранён всякий конкретный элемент: вся качественная, хозяйственная деятельность принимает чисто количественный характер. Это не физическая, но и не духовная, осмысленная деятельность, её смысл перенесён с неё на результат. Можно сказать, что это чистая техника хозяйственной жизни. Поразительно, какой страх и ненависть испытывала католическая церковь в Средние века по отношению к ростовщичеству, как будто предчувствовала в нём источник силы, губительной для тогдашнего жизненного уклада. Кажется, что оно вызывало большее отвращение и осуждение, чем другие человеческие грехи. Ростовщичество подлежало ведению особого церковного суда. Уличённому в нём священнику грозило лишение сана, мирянину – недопущение

ние к причастию. Не только взятие процента строго каралось,* но пресекались возможности скрытой оплаты за долг: например, отработка, любые услуги или отдача долга в другое время года, когда взятый продукт ценится больше (6).

В более развитой форме это же явление «сведение к абстрактному принципу» проявляется как «коммерциализация хозяйственной жизни», т.е. подчинение хозяйственной жизни торговым операциям. Торговец вообще вырабатывает отношение к объектам своей торговли как к чему-то ему постороннему. Он видит в них лишь предметы для обмена. Существенна для него лишь их цена – абстрактная численная величина. Раньше торговля находилась на периферии хозяйственной жизни, но с формированием «развитого капитализма» она становится её ядром. Возникают ценные бумаги, акции, и их рынок (биржа) становится основой экономики. Биржа регулирует более реальную деятельность заводов, шахт или ферм. То есть многогранная индивидуальная хозяйственная жизнь редуцируется к манипулированию числами: ценами, по которым продаются акции на бирже (например, величайшая катастрофа в американской экономике произошла не из-за какого-либо стихийного бедствия, войны или революции, а в результате паники на бирже в «чёрный четверг» 29.10.1929 г. А уже как результат этого закрылись тысячи заводов, промышленное производство упало почти вдвое, число безработных возросло более чем в 10 раз, десятки тысяч человек покончили жизнь самоубийством.).

Общество предшествующей эпохи, называемое обычно «традиционным», опиралось на идеологию, исходящую

из жизни деревни. Основным принципом было представление об «участке», с которого человек «кормится» и посягать на который – аморально. Это же представление переносилось и на другие сферы хозяйства – ремесло, торговлю. Гильдии, цеха, нормы хозяйственной жизни помогали чётко ограничить пределы хозяйственной деятельности каждого человека и защитить их от вторжения других. Максимально понижалась конкуренция и, в частности, такие приёмы, как реклама, украшение витрин, зазывание покупателя, продажа по пониженной цене, производство дешёвых изделий пониженного качества. Многократно издавались законы, ограничивающие употребление «машин, экономящих время», так как это могло привести к разорению других работников. Все такие действия характеризовались термином «не по-христиански» (*unchristlich*) и наказывались потерей уважения, статуса, иногда исключением из общины. Реже они ограничивались законом. То есть общество подавляло как раз те приёмы хозяйственной жизни, которые стали основой «высокоразвитого капитализма»: конкуренцию, рекламу («контакт с потребителем»), удешевляемое массовое производство, применение машин.

«Высокоразвитому капитализму» свойственны интернационалистические тенденции, ориентация на мировой рынок, стирание национальных особенностей. Зомбарт подчёркивает в связи с этим роль «чужаков», «изгнанников», переселенцев в его становлении: гугенотов, вынужденных бежать из Франции, евреев, английских колонистов в Северной Америке. Такой переселенец не отягощён исторической традици-

ей, он не связан с окружающей природой духовными нитями, она является для него лишь объектом хозяйственной деятельности, «недвижимостью». Как пишет один английский колонист из Америки: «Ручьи и реки такие же, но не о них поют старые баллады, они не связаны с историей, они только вращают колёса мельниц». Более того, и оставаясь у себя дома, капиталист усваивает психологию чужака, «эмигранта».

Переход к «высокоразвитому капитализму» связан не только с изменением характера хозяйственной деятельности, но и с возникновением нового хозяйственного духа. Это представление о том, что «время – деньги», что время надо экономить и считать, как деньги. Впервые деловые люди стали торопиться – до этого их как раз отличали неторопливость, степенность. Говорили, что торопятся те, кому нечего делать, «светские щёголи». Если до того более одной трети дней в году были праздниками, освящёнными Церковью, то теперь праздники стали считать проявлением лени.

В более раннюю эпоху сохранялась сложившаяся ещё в Средние века идеология, рассматривавшая общество как цельный духовный организм, в котором экономическая деятельность – лишь один из подчинённых элементов в большом и сложном единстве. Церковь стремилась подчинить хозяйственную деятельность моральному суду. Или хотя бы более скромно: многократно подтверждалось, что эта деятельность естественно направлена на удовлетворение лежащих вне её и вполне достижимых человеческих желаний: обеспечить себе достойное существование, досуг, стать помещиком и т. д. Этот

взгляд соединялся с представлением о естественных потребностях человека (отражающих его сословное положение). Экономическая деятельность признавалась нормальной и справедливой лишь в тех пределах, в которых она была направлена на удовлетворение этих естественных потребностей.

С приходом «высокоразвитого капитализма» утверждается концепция автономности экономики. Макс Вебер пишет: «Теперь уже не приобретение служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а всё существование человека направлено на приобретение, которое становится целью его жизни. Этот с точки зрения непосредственного восприятия бессмысленный переворот в том, что мы называли бы «естественным» порядком вещей, в такой же степени является необходимым лейтмотивом капитализма, в какой он чужд людям, не затронутым его влиянием». Он подчёркивает «иррациональность подобного образа жизни» (7). Тресты, банки, акционерные общества не имеют уже никаких человеческих целей. Мерой их успешности, т. е. конкурентоспособности, является доход, что не имеет никакого естественного предела. Так возникает концепция неограниченно растущей, стремящейся к бесконечности экономики как один из элементов идеологии прогресса.

Теперь уже хозяйственная деятельность диктует законы морали. Деловая жизнь рассматривается как «служение», которому человек должен без остатка отдавать все свои силы. Богатство, успех воспринимается как знак хорошо исполненного долга. Если в Англии ещё в эпоху Тюдоров и Стюартов бедность

рассматривалась как несчастье, которому общество обязано помочь, то после английской революции отношение резко меняется. Бедных рассматривают как преступников, им надо не помогать, а карать их, в крайнем случае – исправлять суровыми мерами.

Епископ Беркли писал: «Тупых нищих надо хватать и на определённый срок обращать в общественных рабов». С ним был согласен и классик английской экономической науки У. Петти. Он говорил, что чем больше платят работникам, тем больше они пьют, поэтому низкая зарплата и высокие цены – благодетели для них.

Артур Юнг, уже в XVIII в., писал: «Каждый, кто не идиот, понимает, что надо держать низшие классы бедными, иначе они никогда не будут трудолюбивы».

Д. Дефо: «Бедные – это вечно стонущая, праздная и неприсмотренная масса, составляющая балласт для нации. Для неё нужно ввести особые законы». Бездомных, безработных заключали в «рабочие дома», цель которых была не помочь им, а исправить их. Тогдашние экономисты очень поддерживали эту меру, т. к. она понижала цену на рабочие руки.

Конечно, и в «традиционном обществе» существовали жадность, стяжательство и ростовщичество. Но принципиальная разница заключалась в том, что господствовавшая идеология их осуждала и сдерживала, а не пропагандировала в качестве добродетелей, называя жадность – экономией, а стяжательство – предприимчивостью. В новом же обществе эти качества стали стремительно распространяться, как сжатая пружина.

Удивительно, что описанные выше идеологические концепции стали формироваться задолго до возникновения технологического общества – по крайней мере, с XVI в., в «подполье капитализма», как пишет один исследователь. «Дух капитализма возник раньше капитализма», – говорит Зомбарт. Аналогичное замечание делает и М. Вебер (7). Это относится и к другим частям идеологии технологической цивилизации – например, к стремлению подчинить всё живое технике, уподобить машине. Так, ещё Кеплер писал: «Моя цель – показать, что небесную машину следует сравнивать не с божественным организмом, а с часовым механизмом». Декарт полагал, что животное – это машина, хотя в человеке допускал душу. Но уже Ламетри написал книгу «Человек-машина».

Одним из основоположных элементов идеологии технологической цивилизации является её «научность». При этом имеется в виду очень специфическая наука – о точно измеримых, выражаемых в числах объектах, новую информацию о которых можно получать потом, оперируя этими числами. Как сказал Кант: «Всякая наука – настолько наука, насколько в ней есть математика». Заключение, опирающиеся на такую науку, подкреплённые расчётами, ещё лучше – применением мощных компьютеров, для современного мышления особенно авторитетны, достоверны. Такой тип мышления действительно привёл к поразительным успехам в астрономии, механике, физике. Но это все науки о неживом, пафос же современной идеологии как раз и заключается в том, чтобы применить эту духовную и интеллектуальную установку к гораз-

до более тонкой и сложной реальности: клетке, организму, человеку, обществу. Уже Ньютон в последних фразах своих «Математических начал натуральной философии», излагающих его механическую систему мира, прокламирует применимость тех же методов к изучению взаимоотношений мозга и других органов живых существ, движений и восприятий. И позже именно успех ньютоновской системы просто кружил головы мыслителям нового времени: Сен-Симон и Фурье обещали построить «универсальную систему» общества – то по «принципу тяготения», то по «принципу гиперболы или эллипса». Ученики Сен-Симона, и в особенности Огюст Конт, настаивали на возможности расчитать всё – и организмы, и социальную жизнь, включая мораль и религию, «как в политехнической школе учат рассчитывать мосты». И они были уверены, что придут к куда более совершенным результатам, чем такой плохой математик, как Природа. При этом, как замечает фон Хайек (8), им, видимо, ни разу не пришло в голову, что человеческий мозг, который они наделяют такими способностями, – создан той же несовершенной Природой!

Применение разработанного в физике метода познания, опирающегося на эксперимент, измерение и расчёт, основано на очень жёстких предпосылках. Объект исследования должен быть совершенно однороден, чтобы экспериментальные данные, полученные из анализа одного его образца, были вполне применимы к любым другим. Как подчёркивает Мамфорд (9), мы должны быть уверены, что 1 кубический сантиметр воды в одной лаборатории точно совпадает с 1 кубическим сантиметром

в любой другой. Но этим отрицается как раз фундаментальное свойство живого – индивидуальность.

(Лейбниц рассказывает, как, будучи в одном светском обществе, предложил присутствующим попытаться найти два совершенно тождественных листка какого-то растения – и, конечно, никто не смог этого сделать.) Благодаря высокому авторитету «научного мышления» (указанного особого типа) в современном мире всё, не укладывающееся в рамки этого типа мышления – т. е. всё индивидуальное и живое, – воспринимается как второстепенное и незначительное.

Более того, этот тип познания применим лишь к измеримым, квалифицируемым объектам. Все остальные – а таковы все чувства человека: любовь, ненависть, боль, радость – вытесняются куда-то на периферию сознания, объявляются как бы несуществующими или, во всяком случае, ненадёжными ориентирами для нашего контакта с миром. Реальными, надёжными считаются только объективные характеристики (и преимущественно – приборов), не зависящие от субъективных переживаний людей. Это даёт, как замечает Лоренц (2), чрезвычайно искажённую картину мира. Наоборот, утверждает Лоренц, объективные заключения, связанные с расчленением встречающихся нам объектов на сравнительно однотипные части с их пересчётом, измерением, – вторичны сравнительно с внутренними переживаниями. Самое достоверное, что нам доступно, это то, что мы называем интроспекцией. Это «найденное внутри» воспринимается с гораздо большей уверенностью как данные о внешнем мире, а «объективное», «опосредствованное» знание всегда

более сомнительно. Субъективное переживание есть основа всего нашего знания, именно это выражает этимология слова «субъектум» – лежащее в основе. Наивная ошибка – надеяться достигнуть объективности путём устранения или игнорирования «субъективного переживания». Но именно эта ошибка лежит в основе научной идеологии технологического общества и приводит к тому, что из картины мира выпадает то, что связано с фундаментальными свойствами жизни, человека, всего органично и естественно выросшего. А остаток, сохранивший лишь свойства, типичные для неживого, который действительно можно описать как некую машину, воспринимается как единственно существующая часть мира.

Технологическая цивилизация принесла нам экологический кризис. Между этими двумя явлениями существует глубокая внутренняя связь, так что все основные черты первого отражаются во втором. Прежде всего это связано с феноменом неограниченного расширения, санкционированного идеологией неограниченного прогресса. Это расширение происходит через, так сказать, расширенное воспроизводство трудностей. То есть когда возникает проблема, связанная с разрушительным действием цивилизации на природу, то проблема решается, но за счёт возникновения одной или нескольких новых проблем, как правило, связанных с более глубоким воздействием на природу. Цивилизация с каждым шагом как бы подбирается всё ближе к самым корням природы. Например, концентрация населения в больших городах ставит вопрос о снабжении их продовольствием, эта проблема снимается механизацией

сельского хозяйства; механизация разрушает почву и уменьшает её плодородие, это преодолевается использованием пестицидов и искусственных удобрений, а это приводит к тому, что отравляются почва, продукты питания, воды и, в конце концов, человечество. Или та же концентрация населения в городах создаёт жилищную проблему, она решается ростом городов, это создаёт новые транспортные проблемы, они снимаются за счёт массового выпуска автомобилей и дорожного строительства, что приводит к уменьшению обрабатываемой площади земли, нехватке горючего, исчерпанию невозобновимых энергетических ресурсов, отравлению воздуха выхлопными газами и т. д.

Явление неограниченного расширения связано ещё с тем, что техника является чрезвычайно мощным инструментом воздействия, так что, как правило, противопоставить ей можно лишь другую технику. Это верно не только в отношении «машинной» техники: если одна воюющая сторона применяет отравляющие газы, то и другая должна их применять; если одна партия использует разработанную систему пропаганды, то и другим без неё не обойтись и т. д. В результате для устранения травм, наносимых техникой, применяются лишь другие её формы. Причём в очень широком спектре явлений. Например, после революции 1917 г. у нас стала с колоссальной скоростью расти техника управления – бюрократия, и для исправления дела Ленин сразу же предложил новую бюрократическую организацию: Рабоче – крестьянскую инспекцию (Рабкрин). Так потом и шло через всю нашу историю.

Ситуация даже ещё драматич-

нее. Видимо, логика живой природы и логика технологической цивилизации построены на совершенно разных принципах, они несовместимы. Всякий, интересовавшийся экологией, знает, какую роль в живой природе играет её организация в форме циклов. Например, трупы и отходы животных поглощаются бактериями, бактерии являются основой роста растений, растения опять поедаются животными. И таких циклов существуют десятки и сотни тысяч. Именно благодаря этой организации в виде циклов всё, что в природе производится, ею же и поглощается. Всё это противоположно «аристотелевской» логике технической цивилизации. Она вся основана на том, что логика допускает лишь вытянутую в одну линию последовательность вытекающих друг из друга положений. Когда рассуждение приобретает характер цикла, это называется ошибкой, «порочным кругом». С бесконечной, идущей как бы по прямой, цепью событий связано и наше представление о времени (в отличие, например, от представления о «циклическом времени», распространённом в античности). И действительно, когда современный человек вторгается в природу, он как раз разрывает эти существующие в природе циклы, откуда, например, и происходит катастрофическое накопление непоглощенных отходов.

Подчинение природы концепциям научно-технического прогресса навязывает ей совершенно чуждые, несовместимые с нею принципы. Возникает противостояние: человек (технологической цивилизации) – Природа. Поскольку технологическая цивилизация крайне идеологизирована, то она оформляет это противостояние в виде

концепции Природы как чего-то несовершенного, косного, низшего, требующего радикального преобразования. Это чувство озлобленного неприятия Природы, всего органически происшедшего лежит в основе таких очевидно вредоносных действий, как отравление Байкала, проект поворота северных рек или коллективизация.

Очевидно, технологическая цивилизация является тупиковой линией развития человечества, ведущей к её гибели. Такой её характер подтверждается и рядом сопровождающих её патологических симптомов. Например, в последнее время – распространением терроризма. Обычно он бывает реакцией на нищету и несправие – а теперь расцветает в самых богатых и свободных странах. Так, в материально сверхблагополучной Германии все стены исписаны призывами в поддержку так называемого RAF (террористическая банда Баадер-Майнхоф). Гораздо более глубокий симптом – это революции, как спутник-двойник, сопровождающие технологическую цивилизацию... Предчувствием их были ещё гуситские войны и восстания эпохи Реформации, а затем – «Великие»: английская, французская и русская революции, поражающие сходством даже в мелких деталях. Они не имеют аналогов в других веках или цивилизациях. Античные восстания рабов, средневековая Жакерия, Пугачёвщина были движимы совсем иным духом. Это была естественная реакция на голод или несправие. «Великие» же революции движимы пафосом полного разрушения, уничтожения всего современного им мира, они дышат апокалиптическим духом. В них ярче всего провозглашается и к ним больше всего привлекает стрем-

ление уничтожить порочный мир – а картина «нового мира», который в результате этого возникнет, маячит где-то вдали, как бледная тень. Их деятелей, революционеров, социалистов и коммунистов, часто упрекают в том, что в своей гордыне они пытаются заменить Бога, тщась построить рукотворное Царство Божие на Земле. Такая тенденция тоже, конечно, существует, но не она является главным двигателем революций. С гораздо большим правом можно сказать, что их вожди по-другому понимают своё вмешательство в замыслы Бога, что их идеал – это рукотворный конец света.

По-видимому, опасность тупикового, гибельного пути развития встречается в истории не впервые. Например, в конце палеолита усовершенствование техники охоты – облавы с огнём, загон целых стад к обрыву или в искусственные ловушки – привело к истреблению ряда видов, служивших охотничьей добычей. Исчезли мамонты, шерстистые носороги, дикая лошадь. В Пиренеях, в Чехии, Средней России археологи находят громадные скопления костей. Обнаружены десятки тысяч останков лошадей близ стоянки Солютре, тысячи останков оленей около пещеры Гурон. Многие туши оставались неразделанными. Некоторые археологи говорят о «блицкриге» охотников, о глобальном хозяйственно-экономическом кризисе, видимо, аналогичном современному экологическому кризису. Несмотря на многочисленные исследования, остаётся загадкой, как человечество сумело нащупать выход и перейти к совершенно иному типу хозяйства – земледелию, к новой социальной организации и к новой системе религиозных представлений.

Есть ещё один способ почувствовать

уникальность технологической цивилизации. Надо обратить внимание на признак, ярко характеризующий любой тип общества, – его фольклор, сказки, мифы. Для технологической цивилизации всё это выражается обычно в форме «футурологии», какой бы вид она ни имела – «научной фантастики» или «смелых научных прогнозов». Мы встречаем очень однородную систему образов. Жизнь среди автоматов, в изолированных капсулах, на далёких планетах, на дне моря или под землёй. Обсуждение возможности существования человека в мире, где не осталось ничего живого (кроме разве бактерий), картины полного вытеснения человека из жизни роботами, заявления о необходимости изменить психику и даже физиологию человека так, чтобы он наилучшим образом мог сотрудничать с вычислительными машинами. Покойный советский астрофизик Шкловский развивал концепцию смешанного человечески-кибернетического существа, «кибернетического организма» (киборга). Эта теория, будучи изложенной на престижной научной конференции, среди учёных различных отраслей науки, встретила тёплую поддержку. В 1960 году французский журнал «Экспресс» напечатал подборку взглядов наиболее признанных учёных мира (лауреатов Нобелевской премии, членов академий СССР, США и т. д.) о жизни в 2000 году. Среди предсказаний встречается замена всей пищи синтетической или запрет естественного способа человеческого оплодотворения и замена его искусственным осеменением. При этом сперма должна браться от людей, от которых можно ожидать идеального потомства, – желательно давно умерших, чтобы их деятельность можно

было объективно оценить. И всё сопровождается призывами «сделать человеческую природу благороднее, красивее и гармоничнее»!

Технологическая цивилизация достигла наибольшего развития в западноевропейском и североамериканском культурном круге, как определённая линия развития капитализма. Однако её развитие и установление её господства во всём мире ни в коей мере не укладываются в привычную антитезу капитализм – социализм. С одной стороны, капитализм – понятие гораздо более широкое, чем технологическая цивилизация. Такие выдающиеся историки античности, как Эд. Майер или Ростовцев, считают, что капитализм существовал уже в античности. И «ранний капитализм» (в терминологии Зомбарта) XVI-XVIII веков содержал в себе возможность многих линий развития, из которых реализовалась одна, очень специфическая. Точно так же совершенно не очевидно, что рост техники или городов должен был привести именно к этой, современной цивилизации. С другой стороны, основные принципы технологической цивилизации вполне совместимы и с социалистическими принципами. Такое впечатление, что эта цивилизация экспериментировала с обоими вариантами развития (с социалистическим, в частности, мы познакомились в нашей стране). На сегодняшний день кажется, что более эффективным для воплощения её принципов оказался тот, который связан с капитализмом. Но самый дух технологической цивилизации: отрыв от природы и человека, противопоставление схемы, расчёта – органическому развитию, всё это придаёт технологической цивили-

зации характер утопизма, близкий духу социалистической утопии [подробное сопоставление технологической цивилизации с социалистическим обществом содержится в моей работе (10).].

Как писал один западный социолог, «современный предприниматель рационален в своих методах, но утопичен – в целях». И те «утопии», которые мы привыкли рассматривать как первые наброски социалистического уклада, возникли-то в период созревания капитализма, начиная с XVI в. Причём про многие из них трудно сказать, что же они живописуют: социалистическое государство или общество, руководимое инженерами и учёными («Новая Атлантида» Ф. Бекона явно относится ко второму типу). У Сен-Симона, знакомого нам «предшественника научного социализма», центр тяжести его системы – в планомерном развитии технического прогресса (и других сторон жизни) под руководством науки, а социалистический ингредиент занимает очень скромное место. Да достаточно прочесть основоположное произведение марксизма – «Коммунистический манифест», чтобы увидеть, как искусственно противопоставление капиталистической и социалистической идеологии. Капитализм играет там роль основной исторической силы, создающей всё необходимое для социалистического строя (см. раздел «Буржуа и пролетарий»). «Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль». Она разрушила патриархальные отношения, разорвала феодальные путы. «Она впервые показала, чего может достигнуть человеческая деятельность, она постоянно революционизирует процесс производства и все

общественные отношения, сделала производство всех стран космополитическим, вовлекла в цивилизацию все народы, подчинила деревню городу». «За сто лет своего господства она создала более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые». Короче, она сделала практически всё, и пролетариату остаётся довольно скромная роль: лишь почти юридическое оформление того факта, что социалистическое общество реально создано. Да и у нас после социалистической революции 1917 года стали решающую роль играть многие явления, которые в Западной Европе или США рассматривались как типичные проявления развитого капитализма. Много примеров приведено в моей, цитированной выше, работе. Удивительное впечатление производят некоторые совпадения, имеющие вид как бы цитат. Например, мысли Зомбарта, что капиталист является колонизатором в собственной стране, параллелен призыв нашего идеолога «научной организации труда» 20-х годов А. Гастева, обращённый к «строителям новой жизни»: «Мы должны стать колонизаторами собственной страны».

Резюмируем основные черты технологической цивилизации, детально рассмотренные выше:

1. Живое постепенно заменяется техникой, город вытесняет деревню, уничтожается природа.

2. Всё быстрее растёт население и объём производства. Жизнь потеряла стабильный характер. В результате – экологический кризис.

3. Человек включается как составной

элемент в производственный процесс, надобностям которого подчиняются непосредственные человеческие цели.

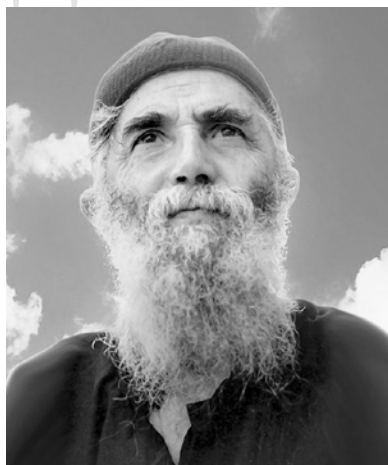
4. Жизнь регулируется концепциями механистической науки, первоначально сложившейся как наука о мёртвой материи. Мораль подчиняется критерию «эффективности».

5. Жизнь нивелируется и стандартизируется в масштабе всей Земли. Создаётся управляемое сознание.

6. Господствует утопический тип мышления: создаются абстрактные, рассчитываемые схемы, согласно которым потом радикально переделывается жизнь.

Многие из размышлявших об этой цивилизации предлагали в качестве её символа или идеала такой образ: природа, включая человеческое общество, превращается в единую, идеально действующую машину, в которую отдельные люди включаются как её детали, «винтики», или загружаются как однородная масса сырья.

С каждым десятилетием специфические черты технологической цивилизации приобретают всё более утрированный характер. Может создаться впечатление, что эпоха живого, занявшая последние несколько миллиардов лет, приходит к концу. Определяющей силой становится хоть и созданная человеком, но всё более подчиняющая его себе техника: неживая структура, к которой не применимы категории смысла, цели или красоты. Это как бы возвращение материи в первобытный хаос, Ничто. Естественно, что такой эпохе созвучно мироощущение гибели древних богов, катастрофы, «конца мира».



Афонский старец Паисий Святогорец – прославленный в лике преподобных – величайший подвижник, наш современник, имя которого повсеместно известно всем православным. Он родился в 1924-м году, а в 1950-м стал монахом. С этого времени большая часть жизни его связана со Святой горой Афон. Там он вёл скромный, аскетический образ жизни, большую часть дня проводил в молитвах и чтении духовной литературы. Вскоре стало понятно, что отец Паисий наделён Господом великими дарами – прозорливостью, даром исцелять духовным словом страждущих, удивительной кротостью и смирением. Тысячи людей со всего мира потянулись в его каливу (келью), и старец был готов принять их днём и ночью. Он всегда выслушивал человека и старался дать ему полезный совет. Много раз отец Паисий говорил о том, что люди сами не хотят, чтобы им помогли, не желают очистить свою душу от грехов, а ищут только того, чтобы батюшка или старец каким-то чудом решили все их проблемы. После себя он оставил духовное завещание – замечательные душеполезные книги, которые пользуются огромной популярностью во всём мире, а особенно в России. Любой труд преподобного Паисия Святогорца – это сокровищница духовной мудрости, спасение для души человека с помощью опыта великого подвижника.

Поучения преподобного Паисия Святогорца

Многие христиане несут какой-нибудь подвиг, чтобы очиститься от страстей. Обычно держат пост, кладут поклоны и ходят в церковь, однако нисколько духовно не преуспевают и не получают очищения.

Давайте рассудим, потому что есть и иной подвиг. Что касается телесного подвига – если кто его и увеличит, не преуспеет совсем. Может только увеличить превозношение: дескать, я что-то значу. Поэтому необходимо повернуть

рамку прицела на превозношение и бить туда. Тогда человек с большой лёгкостью может достичь многого.

Я думаю, что это не великий подвиг. И маленький ребёнок, который не может подвизаться, может сокрушить диавола смирением. Конечно, он очень сильный, но и очень гнилой. Он может повергнуть и гиганта, но может быть побеждён маленьким ребёнком.

При всяком подвиге смирение должно преобладать. Если не смиришься, то в

силу вступает духовный закон: «Всякий возвышающий себя, унижен будет» (Лк. 14,11). Когда мы познали себя, тогда смирение приходит естественным путём и становится состоянием человека.

Если мы не познаем себя, то будем играть не по правилам, и диавол подбросит нам мысль, что мы что-то значим. Давай-те же поймём, что мы – ничто. Давайте повторять до самого смертного часа: сегодня мы есть, а завтра нас нет.

Кто-то может совершать многие подвиги, однако, без успеха, потому что не имеет смирения, а другой может нести небольшие труды и достичь большего успеха, потому что имеет смирение, которое восполняет недостатки.

Подвиг требует тщания, плача, надежды, утешения, уверенности и духовного кислорода. Всё это обеспечивает нам безопасный путь. Не несчастья и вынужденное послушание, не молитва через силу. Не слёзы и притеснения от диавола. Я буду оплакивать свои грехи, надеясь на любовь Божию – да. Но оплакивать потому, что того хочет сатана – этого я не допускаю.

Очень часто диавол ввергает человека в чрезмерную печаль и выходит победителем. Да не будет так. Живите просто, как дитя на руках своего отца. Доверие Богу – это постоянная молитва, приносящая добрые плоды. Отчаяние от диавола.

Бог по Своей любви не допускает, чтобы мы переживали свои грехи, чтобы нам не мучиться. Есть старательные и чувствительные души, которые Он нарочно делает твёрдыми, чтобы они не сломались от переживания грехов.

То же бывает и с переживанием

благодетельных Божиих. Если мы были в состоянии их понять, то немедленно растворились бы. Чем больше человек укрепляется в духовной жизни, тем больше Бог позволяет ему видеть и то, и другое.

Умный – значит освящённый. Диавол не охотится на несчастных, он охотится на умных, на тех, кто рядом с Богом и может творить чудеса. У них он отнимает доверие Господу и начинает терзать их самоуверенностью, мудрованиями, сомнениями и осуждением.

Поэтому надо, чтобы мы положили рассудок в холодильник до тех пор, пока Бог не вернёт нам его освящённым. Никто не излечился и никто не мог бы спастись без послушания.

Один простой, но святой человек, когда находился в нужде и хотел помочь бедному больному, пошёл на берег моря, где находился храм Вознесения, простёр руки и сказал: «Святое Вознесение, дай мне рыбку для больного». И, – о чудо! – в руках у него оказалась рыба, и он пошёл и приготовил её для больного, благодаря Бога и святое Вознесение.

Ум – это дар и благодать Божия, как и телесная сила. Поэтому надо, чтобы мы пользовались им, как хочет Бог, для спасения и освящения.

Молитва – это радость и благодарение. Мы начинаем её с изучения свято-отеческого творения, ибо этим согревается душа и переносится в духовный мир. Цель в том, чтобы ум уладил сердце, чтобы молитва стала сердечной. Только сердечная молитва и есть молитва, так как в ней сострадание, и она приносит плоды. Сердце очищается воздыханием и усердием. Будем направлять душу на путь слёз.

Молитва должна стать необходимой

для нас. Давайте говорить с Богом, потому что нет ничего более сладкого.

Аскеза должна быть умеренной, чтобы не вредить нашему здоровью и не препятствовать исполнению должного. Крайности губят тело и делают человека никуда не годным даже в отношении самого необходимого.

Духовное преуспеяние – вот что от вас требуется. Ни преподобный Антоний Великий, ни святой Варсонофий Великий не могут нас спасти, если мы не будем иметь правильного устройства. Бог будет помогать, когда мы всё отдаём в Его волю. Тот, кто имеет добрые помыслы, имеет и духовное здоровье.

Истинное покаяние – это естественное смирение, а искусственное смирение не требуется. Когда ум услаждается, он там пребывает, а потому надо доставлять ему постоянную духовную работу.

Когда человек понимает, что только грехи являются его собственностью, тогда Бог даёт ему всё, в чём тот нуждается. Когда он этого не понимает, он ставит Господа в трудное положение.

Страшное дело! Если Бог даст ему какой-либо дар, то он пойдёт во зло, потому что несчастный будет считать, что он сам что-то значит. Если не даст никакого дара, опять же сделает того человека несчастным.

Что же делать? Даст ему – повредит, не даст – Сам огорчится. Как только поймёт человек, что лишь грехи принадлежат ему, а остальное – Богу, Господь начинает постоянно давать ему всё, что нужно, как отец, у которого единствен-

ный ребёнок, даёт ему то, что необходимо для его благополучия.

Одно вздыхание стоит больше обильных слёз. Не будем просить у Милостивого Бога ни слёз, ни даров. Просите покаяния, покаяния, покаяния. Мы нуждаемся в покаянии.

Так как никто не может избежать прилога, надо, прежде всего, насколько можно, избегать расслабленности. И так как никто не избежит встреч с людьми, надо прилепляться к небесному и невестественному. Этому много помогает удаление, насколько возможно, от вещественного. Материальные вещи вызывают всегда и материальные потребности.

Наша телесная жизнь не согласуется с жизнью духовной. Поэтому духовный человек, если вдруг захочет пожить жизнью телесной, хотя бы в отношении того, что он считает безвредным для души, в один прекрасный день, сам того не замечая, кончит падением.

Жизнь духовных людей должна быть вышеестественной, чтобы они могли освободиться от мирского духа и преуспеть в духовной жизни. Они должны ясно ощущать присутствие Бога, воспламеняться от Божественной любви и спрашивать себя: разве есть что-нибудь лучше Рая?

Благой Бог первым делом исследует, сколь велика способность сердца к восприятию, а потом соответственно этому уделяет от Своей любви. Это человек может получить, совершив посильный подвиг, и в той мере, в какой он преуспел в познании себя.

И, когда человек познает себя, тогда происходит «взрыв личности», и он вырывается в духовное пространство. Ибо, когда он познает себя, то, хочет он того или не хочет, он смирится, а ког-

да смирится, то непременно благодать Бога сойдёт на Его творение. Тогда человек будет светить, даже не зная о том и не чувствуя того, и так прославится Бог.

Есть один простой способ непрерывной молитвы; если хотите, пользуйтесь им. Он, вероятно, помогает простым людям, которые не могут вникать в действительный образ мыслей Святых Отцов, подвижающихся в трезвении, и избегают опасности заблуждения с его помощью, к сожалению, некоторые не ставят своей целью совлечение ветхого человека, т. е. покаяние, смирение и подвиг, как вспомогательное средство освящения души, с пониманием своей глубокой греховности. Ведь так они, естественно, чувствовали потребность в милости Божией и повторяли бы много раз «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» с сердечной болью ощущая в сердце сладость Божественного утешения от Иисуса Сладчайшего.

Но к сожалению, некоторые, как я сказал, делают подвиг самоцелью и гонятся за божественными радостями и светом, постоянно умножают молитву по чёткам, и, как они считают, освящаются. Эти люди делают вывод о своей святости на основании математических подсчётов прочитанных по чёткам молитв.

Они изготавливают, конечно же, точных размеров скамеечки и прочее, наклоняют голову к сердцу, регулируют, и прочее, как пишут в «Добротолюбии» святые Каллисты и Григории, и получают ложное ощущение, будто уже пришли в меру святых. С того момента как

они поверили этому помыслу немедленно прибывает бес и ставит перед ними телевизор с их фантазиями, и они непрерывно смотрят бесовские пророчества и прочий соблазн.

Поэтому единственной гарантией правильной молитвы является покаяние и, уже затем на нём пусть будет всякое духовное строительство, а покаяния будем непрерывно просить у Бога и ничего другого, кроме него. Не надо искать ни света, ни чудес ни пророчеств, ни дарований, ничего, кроме покаяния.

Покаяние приносит смирение, смирение принесёт благодать Божию, потому что смиренным обязательно ниспосылается Божия благодать. Следовательно, покаяние необходимо для нашего спасения, и когда имеем его, может прийти благодать Божия и научить нас, что следует делать для нашего спасения и, если потребуется, для спасения наших ближних.

Итак, вот таким образом, как я показал, — чтобы нам чувствовать милость Божию, как великую любовь, — будем многократно повторять молитву от всего нашего сердца и почувствуем радость Божественного утешения от Иисуса Сладчайшего в нашем сердце, и тогда сердце крепко обнимет наш ум, как и всё наше существо. Тогда только молитва не ослабевает, но укрепляется, и мы постигаем её смысл. Тогда только молимся без принуждения себя, но бываем принуждаемы усердием, и это усердие приносит всякое духовное дерзновение с окрылением сердца, и тогда уже сердце, какое бы каменное оно ни было, даёт трещины, и из них источаются слёзы, без всяких усилий вызвать слёзы в час молитвы.

Итак, чувство необходимости в такой

молитве должно быть подобно жажде младенца, который открывает ротик и спешит в объятья своей матери, чтобы она дала ему грудь. При этом он чувствует и великую безопасность, и материнскую любовь.

Пусть никто не сомневается, что враг попытается ополчиться на нас, всевая помыслы. Если, однако, прежде чем молиться, мы немного читаем из Отцов, то малые или большие пощения и заботы дня отсекаются, и всё обращается к духовному, создаётся другая атмосфера и молитва бывает собранной.

Если враг насыляет хульные помыслы, по обычной его злобе и зависти, не смущайся, но используй и беса для своего делания следующим образом. Без смущения говори врагу: «Это хорошо, что ты внушаешь мне такие помыслы, чтобы я молился, ведь иначе я забуду молиться непрестанно».

Враг тогда отступает немедленно, ибо он умеет делать только зло. Это я сказал, потому что враг, как правило, внушает хульные помыслы людям чувствительным, чтобы сделать их ещё более чувствительными, смутить и остановить.

В частности, о тех, кто подвизается в бдении сверх своих сил с превозношением. Они ослабевают и уже не имеют сил бороться с помыслами врага. Они полагают, что хульные помыслы их собственные и так страдают понапрасну, ибо причина не они сами, а враг.

Поэтому юноши должны со смирением и рассуждением подвизаться в молитве, готовясь к ночи уже днём: сосредоточенно, обдуманно, с воздержанием в пище, что помогает. И, насколько возможно, нужно избегать солёного,

чтобы не было жажды, поскольку и вода мешает, вызывая одышку и препятствуя молящемуся.

Очень хорошо, если вечерняя пища лёгкая, насколько возможно, и принимается около 4-х часов до сна. После этого должно следовать размышление, чтение Отцов и другое – в течение трёх часов после еды. Очень хорошо также предварять молитву поясными и земными поклонами по чёткам, дабы не застывало масло в машине.

Если почувствуешь усталость, можно сесть и произносить молитву, благодаря Бога за великие Его милости и благодеяния. Тогда ум целиком сосредотачивается в сердце и ищет всем сердцем, всей душою, всей мыслью милости Божией без всякого усилия.

Очень хороши часы после захода солнца. Поэтому читайте Святоотеческие книги, главным образом, перед заходом солнца. Три часа после полуночи, как и три часа перед восходом. Для молодых хорошо поспать через час после заката с небольшой молитвой и подняться после полуночи, дабы избежать соблазнительного утреннего сна.

Естественно, требуется рассуждение и внимание их духовного наставника, без которого обойтись нельзя.

До тех пор пока живёт человек на земле, он имеет право проходить через духовные испытания, и нет такого, кто прожил бы без них. Итак, будем подвизаться, чтобы построить духовное основание и войти в Рай.

Кто подвизается духовно, тот воюет против врага диавола, вследствие чего и он воюет против него. Человек, который победит мысленного врага, будет

увенчан Христом. Опыт приобретается от демонского обстрела, который принимает воин Христов в духовной брани.

Прежде чем начать войну, враг бомбардирует помыслами! Иисусова молитва является самым сильным оружием против помыслов врага.

Духовное преуспевание подвигающегося будет зависеть не от хорошего духовного отца, но от благих помыслов послушника. Чтобы очистились ум и сердце, человек должен не принимать лукавые помыслы и сам не думать лукаво, но трудиться просто и смиренно, и подвизаться усердно.

Величайшая болезнь нашей эпохи – это суетные помыслы мирских людей, которые приносит беспокойство. Её исцеляет только Христос с помощью душевной тишины и вечности, но нужно только, чтобы человек покался и обратился к Нему.

Насколько удаляются люди от простой естественной жизни и предаются роскоши, настолько умножают и свой страх за завтрашний день. И насколько развивается мирская вежливость, настолько же теряется простота, радость и естественная человеческая улыбка.

Бог – это бесконечный Ум, и человек по уму родственен Ему, и умом приближается к Нему. Бог – это бесконечная Любовь, и чистым сердцем человек чувствует Его. Бог прост, и в простоте верит человек, и подвизается смиренно и усердно, и переживает таинства Божии.

Человеческие кресты – это просто крестики, которые помогают нам в спасении нашей души. Крест же Христов был очень тяжёл, потому что Господь не употребил Свою Божественную силу для Себя Самого.

Лучшим лекарством для каждого нашего несчастья является сострадание нашим ближним в их ещё большем несчастье – стоит только помыслить о нём.

Иисус сладок, и для того, кто в горечи своего страдания прётся на Христа, горькое превращается в сладкий сироп.

Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была принята Богом? Сделай страдание ближнего своим страданием. Всё одно сердечное воздыхание о своём ближнем приносит реальные результаты. Извещение принятой молитвы есть Божественное утешение, которое человек чувствует после неё.

В соответствии с жертвой и молитвой, которую совершает человек за себя и за своего ближнего, подастся ему и Божественная помощь.

Доверие Богу в том, что ничего не бывает без Божией воли есть тайная непрерывная молитва с реальными результатами. Кто доверяется Господу, тот сеет славословие и собирает Божественную радость и вечное благословение. Кто сеет печаль, тот и пожинает печаль и запасает беспокойство для своей души.

Сладость жизни чувствуют не те, кто радуется мирскому, а те, кто живёт духовно и принимает горькое с радостью, как лекарственные травы для здоровья своей души, и питается только для поддержания своего тела.

Если алчет твой ближний, отдай ему свою пищу. Если нет алчущего человека, отдай свою пищу голодным животным, потому что тебе будет необходимая для Рая польза от поста, а бедные животные не имеют Рая: они имеют только то благо, что для них нет и ада.

Радость, которую чувствует человек, когда принимает материальное благословение, есть радость человеческая, в то время как радость, которую чувствует сам дающий человек, есть радость Божественная. Она приходит через подаяние.

Духовного изменения, которое принимает душа вместе с сердечным ликованием от одной только милостыни или благодеяния ближнему, не может дать никакой величайший лекарь, даже если ты и дашь ему целый мешок долларов.

Кто от чистой любви трудится ради своего ближнего, тому само утомление приносит отдых. Тот же, кто любит себя самого и ленится, утомляется от своего бездействия.

Трудолюбивый человек, кем бы он ни был, монахом ли или мирянином, будет духовно преуспевать, потому что будет трудиться усердно. В то время как ленивый не будет преуспевать ни в монастыре, ни в миру.

Пред Богом имеет цену вот что: когда человек возлюбит Его только потому, что Он благ. Наш Христос по любви к нам стал Человеком, был осмеян, оплёван, бичёван, обнажён и распят, пролив Свою кровь. Всем этим Он показывает каждому из нас, что Он действительно есть Любовь. И поскольку Бог есть Любовь (1 Ин. 4,8), то только этим мы должны быть побуждаемы к любви к Нему и вере, что Он Бог наш, ибо Он благ.

Если человек, видя эту столь великую жертву Христа ради нас и Его любовь, не верит, что Он есть Бог наш, но для веры требует чудес, такой человек никогда не будет по-настоящему ни любить, ни верить.

Когда я был маленьким, и душа моя не имела греховной накипи, я очень любил Христа и, держа крест в руке, исполненный радости, ходил по лесу, как монах, пел, молился и хотел стать монахом. Но родители говорили мне, что, прежде чем уйти в монахи, нужно, чтобы у меня выросла борода.

Я был маленьким, и они немного подшучивали надо мною, говоря, что если я спешу, то мне нужно расчёской постоянно расчёсывать свои щёки, чтобы борода выросла быстрее. Я, простой тогда, верил в это и исцарапал себе все щёки!

Пребывая в таком состоянии, я встретил однажды в лесу одного молодого агронома, своего односельчанина. Я держал в руке крест, и он, завидев меня, спросил:

– Что это у тебя такое?

Я ему ответил:

– Крест нашего Христа.

Он, не имея благих помыслов, сказал мне:

– Ну и глупыш же ты, Арсений! Не верь этому. Бога нет. Вся эта религия – поповская выдумка. Мы произошли от обезьяны а Христос был простым человеком.

Сказав мне это, он встал и ушёл. Этот губительный помысел, посеянный юношей, повлиял на мою невинную тогда душу, наполнив её тяжёлыми чёрными облаками. Оставшись в лесу совершенно один, я начал терзаться помыслами. «Может быть, – говорил мне один из них, – Бога нет, и я напрасно верю в Него». Одни помыслы говорили мне одно, другие – другое... Измученный, расстроенный и пришедший в полное отчаяние, я просил, чтобы Христос, если Он есть, что-нибудь мне показал, дабы я поверил. Но ответа не было.

Измученный таким состоянием, я прилёг отдохнуть. В ту же секунду в мою

непорочную тогда душу вошёл исполненный ревности по Богу добрый помысел и сказал мне:

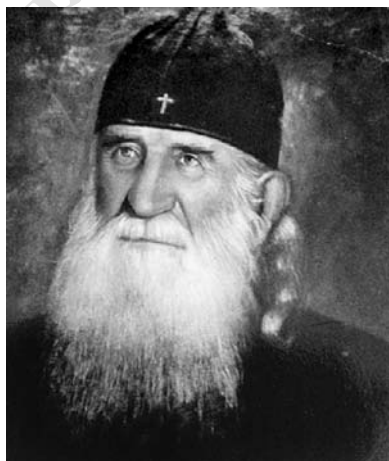
«А ну-ка встань! Христос, пришедший на землю, не был ли Самым лучшим и самым благим из живших когда-либо? Не нашлось ни одного человека, который бы увидел в Нём какое-либо зло. Посему, Бог Он или нет, меня это не касается.

Поскольку Он самый лучший из живших на земле и другого лучше Него я не знаю, постараюсь, насколько смогу, стать похожим на Него и оказывать совершенное послушание всему, что Мне говорит Евангелие. А если понадобится, то, ради

такой Его благодати, я и жизнь свою отдам за Него!»

Тогда рассеялись все мои помыслы неверия, и душа моя наполнилась безграничной радостью, потому что сила этого ревностного помысла разрушила все сомнения.

И когда я поверил и решил, насколько смогу, полюбить Христа, по причине одного только усердия, тогда за этим моим решением последовало и одно небесное чудо, подтвердившее то, к чему побудил меня ревностный помысел. Тогда я подумал: «Пусть теперь говорит мне, кто хочет, что Бога нет!»



Иустин Попович (1894-1979) –
*архимандрит, прославленный в лике
преподобных Сербской православной
церковью, доктор богословия.
Автор многочисленных духовных
произведений.*

Введение в книгу «Философия и религия Ф. М. Достоевского»

Достоевский не всегда был современным, но всегда – со-вечным. Он со-вечен, когда размышляет о человеке, когда бьётся над проблемой человека, ибо страстно бросается в неизмеримые глубины его и настойчиво ищет всё то, что бессмертно и вечно в нём; он со-вечен, когда решает проблему зла и добра, ибо не удовлетворяется решением поверхностным, покровным, а ищет решение сущностное, объясняющее вечную, метафизическую сущность проблемы; он со-вечен, когда мудрствует о твари, о всякой твари, ибо спускается к корням, которыми тварь невидимо укореняется в глубинах вечности; он со-вечен, когда исступлённо бьётся над проблемой страдания, когда беспокойной душой проходит по всей истории и переживает её трагизм, ибо останавливается не на зыбком человеческом решении проблем, а на вечном, божественном, абсолютном; он со-вечен, когда по-мученически исследует смысл истории, когда продирается сквозь бессмысленный хаос её, ибо отвергает любой временный, преходящий смысл истории, а принимает бессмертный, вечный, бого-

человеческий. Для него Богочеловек – смысл и цель истории; но не всечеловек, составленный из отходов всех религий, а всечеловек=Богочеловек.

Окончательное решение любой проблемы не может не зависеть от конечной, абсолютной цели и смысла истории. Любая, даже наименьшая, проблема своим жизненным, внутренним нервом заходит в вечные проблемы, вплетается в них, ибо всякая тварь и всякое существо тайной своей сущности отражаются в бесконечности, в вечности. Вся вселенная облечена в тайну – вся вселенная и всякая тварь. Это мучительно чувствует Достоевский и тысячеокой душой своею неусыпно бдит над тайной мира, следит и непрестанно твердит: всё есть тайна, всё есть загадка, и все тайны находятся в органической связи между собой. Все загадки и все тайны составляют один неделимый организм, сердце которого – Бог. In ultima linea все тайны, все проблемы, – считает Достоевский, – сводятся к двум основным «вечным проблемам»: проблеме существования Бога и проблеме бессмертия души. Они имеют в себе

невероятно много центростремительной силы, с помощью которой притягивают к себе все остальные проблемы, подчиняют их себе и обуславливают их решение. От решения вечных проблем зависит решение всех остальных проблем, — учит Достоевский. Решение одной вечной проблемы содержит в себе решение и другой. Они всегда находятся в прямой соотносённости. Если есть Бог — душа бессмертна; если нет Бога — душа смертна.

Решение этих вечных проблем — главное страдание всех отрицательных и положительных героев Достоевского. Через это они осуществляют подход ко всем остальным проблемам; без этого невысказано они, как невысказан и сам Достоевский. «Существование Бога — главный вопрос, — пишет Достоевский Майкову, — которым я всю жизнь мучился, сознательно и неосознанно».

Герои Достоевского являются воплощением этого главного страдания, этого главного вопроса. Их жизненная забота, их неизбежное занятие — решать главный, вечный вопрос: есть ли Бог, есть ли бессмертие? Без этого они невозможны; без этого они теряют себя. «Я не могу о другом, — признаётся Кириллов, — я всю жизнь думал об одном. Меня Бог мучил всю жизнь...». Добрый несчастный Митя плачет, рыдает и страстно Алёше исповедуется: «Меня Бог мучит. Одно только это и мучит».

И все остальные мучаются Богом; всех их разъедает это страшное, это вечное мучение. Опосредованно или непосредственно, все они всю жизнь свою сводят к решению проблемы существования Бога и бессмертия души. «Искание Бога», по мнению Достоевского, является целью всех — не только личных, но и народных движений, — целью истории человечества.

Положительное или отрицательное

решение вечных проблем предопределяет всю жизнь человека, всю его философию и религию, всю нравственность, весь смысл жизни — таково основное убеждение Достоевского. Отрицательное решение этих проблем, выраженное словами: «Нет Бога, нет бессмертия», составляет сущность всех отрицательных героев Достоевского; а положительное решение: «Есть Бог, есть бессмертие» — составляет сущность его положительных героев. Отрицательное решение вечных проблем неминуемо влечёт за собой отрицательные решения всех остальных проблем; обращённое к людям, к твари, оно проявляется как нигилизм. Нигилизм и есть не что иное, как прикладной атеизм. Из философии атеизма неминуемо вытекает мораль нигилизма. Это Достоевский доказывает способом новым и живо-действенным; своим гениальным психологическим анализом, доказательствами он вынуждает признать, что нигилизм есть неминуемое следствие атеизма. Если нет Бога, если нет бессмертия, то нет и добродетели; в таком случае — всё позволено.

Положительное решение вечных проблем психологически обеспечивает решение всех остальных проблем; обращённое к людям, к твари, оно проявляется как любовь. Любовь — это прикладное чувство. Чувствование Бога и чувствование личного бессмертия. Души положительных героев Достоевского сотканы из таких чувствований; поэтому вся их жизнь представляет прекрасную, Богом вытканную ткань. Сердца их наполнены Богом и бессмертием; и всё, что из них исходит, божественно и бессмертно. Если есть Бог, если есть бессмертие, то настоящая любовь — реальная возможность; без этого настоящая любовь — психологически и онтологически невозможная возможность.

Каждое чувство, каждую мысль, каждое движение души Достоевский проводит до крайних пределов, чтобы затем слить их с вечными проблемами. Каждую проблему, которую проводит через мятежный свой дух, Достоевский органически соединяет с вечными проблемами и мучается ими, пока не определит их значимость с точки зрения вечности. Вечность даёт смысл времени.

Вечные проблемы не навязаны человеку, а имманентны человеческому духу. Человек по природе своей насколько физичен, настолько и метафизичен. На самом деле, ничто не является столь метафизическим, как физическое. В переводе на язык Достоевского это бы гласило: нет ничего фантастичнее действительности, реальности. Корни любого физического процесса всегда остаются сокрытыми в метафизической сущности космоса. И сама физика в основе своей метафизична, ибо основывается на гипотезе об «этаре», который *«ungreifbar und unbeweglich, йп und fur sich uberhaupt nicht wahrnehmbar»* (неосязаем и неподвижен и сам по себе вообще незаметен) [1].

В результате многоаспектного и неповторимого психологического анализа человеческой природы Достоевский приходит к заключению, что идея Бога имманентна человеческому сознанию и что самосознание человека по сути своей есть богосознание. Будучи аналитиком разума человеческого более строгим, нежели Кант, и аналитиком воли человеческой более строгим, нежели Шопенгауэр и Ницше, Достоевский обнаруживает, что человек своей психической организацией предопределён постоянно, внутренне, сознательно и неосознанно, мучиться проблемой Бога. В любом случае, для Достоевского и его героев Бог – это страдание, страст-

ная мука и страстное мучение. «Страшно впасть в руки Бога Живого», а человек – уже потому, что он человек – впадает и впасть должен.

Несомненно, в человеке есть нечто постоянно стремящееся к Богу – то, что невозможно ни сковать, ни полностью уничтожить. Если бы идея Бога, памятование о Боге не было субстанциональной частью человеческого самосознания, богоборцы легко могли бы его уничтожить в себе и во всём человечестве. Однако идея Бога – в центре человеческого сознания; в этом страдание человека, в этом и величие. И без окончательного решения проблемы о Боге, без детального определения своего отношения к Богу человек онтологически не способен окончательно решить какую бы то ни было иную проблему.

Многочисленными способами Достоевский пытается решить эти вечные, эти «проклятые вопросы». Он до пожара доводит этими вопросами души своих героев, которые сгорают в них, страшно мучаясь. Бог для них – это не только идея, но и страсть – пожар, страсть горькая или сладкая. Бог может быть анемичной идеей для иссушенных умов, но для героев Достоевского Он – страсть физическая и духовная: они до крови или борются с Богом, или посвящаются Богу. Для них Бог – это не собрание текстов, которые можно прочитать и проштудировать, это Бог Живой, который должен жить, это страдание, которое необходимо выстрадать, это боль, которую необходимо перетерпеть. Они идею Бога низводят до страсти, острачивают её, крестят её в крови; их Бог мучает; они болеют проблемой Бога, и болезнь их передаётся другим. Это может ощутить всякий читающий Достоевского. Вся личность их повелительно требует безотлагательного решения проклятой

проблемы; и они судорожно, иступлённо селятся её решить – положительно или отрицательно.

Психологический анализ героев Достоевского позволяет нам разделить их на две категории, на две группы. Первую группу составляют отрицательные герои – «антигерои», которые вечную проблему решают отрицательно или склонны к отрицательному решению. Вторую группу составляют положительные герои, которые эту же проблему решают положительно. Первые – морталисты, ибо для них не существует Бог, не существует и бессмертие, ergo – смертен весь человек, без остатка; вторые – имморталисты, ибо для них существует Бог, существует и бессмертие души: бессмертной стороной своего существа человек открыт для вечности и мистически соединён с нею. Первые – богоборцы, вторые – боголюбцы; и одни, и другие создают свою философию, и свои решения отстаивают искренне, мученически, страстно. Философия первых – философия атеизма и религиозного бунта; философия вторых – философия теизма и религиозного смирения. Первые учиняют невиданные и неслыханные бунты, каких история религиозного бунтарства не знала. И в древнем мире бунты были: бунтовали Соломон и Иов, бунтовал Прометей; их бунты продолжили Фауст и Вольтер, Манфред и Шелли, Ницше и Метерлинк. Но все они, вместе взятые, предстают не более чем глухонемыми предшественниками бунтарей Достоевского. Битые кнутом жизненных ужасов, поражённые ядовитым трагизмом мира, антигерои Достоевского учиняют бунты, совершение которых с гордой радостью принял бы на себя верховный дух зла и уничтожения. Да и если бы сам он преподавал философию атеизма, то не был бы страш-

нее и бунтарнее их. В атеизме подкован Мефистофель Фауста, когда его ученику даёт урок по философии атеизма; но тот же Мефистофель, несколько не унижая своего достоинства, мог бы смиренно слушать лекции по атеизму у «желторотого» русского студента Ивана Карамазова – в них бы нашёл себе наилучшее оправдание, свою «дьяволодицею». Вообще, все старые и новые философии атеизма по сравнению с философией бунта у Достоевского.

В философии антигероев Достоевского мистический ужас жизни нашёл свой стиль, своё выражение. У Ницше присутствует риторика, у них же её нет. Поражённые ужасным страданием, подавленные ужасающей таинственностью жизни и её законов, они забывают обо всех знаниях, обо всех законах, о всякой осмотрительности и бросаются страстно, мученически в ноги страдающему человечеству, поклоняясь его страданиям. От ужаса они путают все законы и все ценности – переходят все границы, установленные людьми и природой. Они не мирятся со страданием; для них оно – самое большое отрицание Бога. Наша жалкая планета погрязла в страданиях. Так возможно ли оправдание Бога при бессмысленных страданиях? Неужели за столь ужасным миром стоит Бог? И если Он есть, то разве может быть оправдан? Антигерои Достоевского остаются перед фактом: страдание наличествует всюду, причём оно бесцельно, между человечеством и Богом оно стоит как отвратительное чудовище; антигерои не могут его устранить, не могут его молча обойти и потому не принимают мир, который «почивает в абсурде». Для них этот мир хуже всех возможных миров (разумеется, большой вопрос: возможны ли вообще луч-

шие миры?); если его принимать, то они могут принять его лишь как космогоническое доказательство существования не Бога, а дьявола; историю же человечества могут принять не как теодицею, а как дьяволодицею. Бессмысленный трагизм мира опровергает Бога и утверждает дьявола, осуждает Первого, защищая второго.

Разве возможен ответ, удовлетворительный ответ, на такой бунт?

Да, возможен, – говорит Достоевский. – Возможен только один-единственный ответ, и ответ этот – «Пресветлый Лик Богочеловека Христа». Бунтари могут разрушить все системы, все принципы, все законы, могут называть учение Христово ложным, осуждённым современной наукой и экономическими теориями, однако неразрушимым остаётся «Пресветлый Лик Богочеловека, Его нравственная недосыгаемость, Его чудесная и чудотворная красота». Труднее всего бороться не с учением, а с Пресветлой Личностью Самого Христа; и победить Её абсолютно невозможно. «Галилеянин, Ты победил!» – Достоевский это чувствует, Достоевский это знает, и потому, как ответ взбунтовавшимся антигероям, представляет чудесный и чудотворный Лик Христа, который действует непосредственно или опосредованно, через христоликие личности Зосимы и Алёши, Мышкина и Макара, Они своим чудесным христоликим видом умиротворяют взбунтовавшихся духов, умиротворяют обуреваемые души, успокаивают мятежные устремления. Всей жизнью своей, сущностью своей они убеждают, что Бог есть, бессмертие есть. Их чудесная сила в лицах их, в которых излучаются и сияют христоликие души их. Они Бога не доказывают, а показывают. Они знают, что дискурсивно и диалектически невозможно доказать существование Бога

и бессмертие души. Для этого необходимо личное внутреннее убеждение, обретаемое только опытом деятельной любви. От величины этого опыта зависит величина и сила убеждённости в существовании Бога и в бессмертии. Чем богаче этим опытом человек, тем богаче он и верой в Бога. Через опыт деятельной любви человек обретает реальное, опытное богопознание и реальное самопознание, т. е. он реально и экспериментально познаёт, что его душа христолика и бессмертна. Опыт активной любви как метод богопознания и самопознания и является новозаветным, апостольским методом, методом православной философии, методом, который прямо противоположен схоластическому методу механизации животворных истин Христовых и протестантскому методу рационализации надрациональных истин христианских.

Христоликие герои Достоевского хранят наибольшую драгоценность нашей планеты – Лик Христа, который в нужные моменты являют поколебленным душам в мире этом. Только Его они имеют посредником между собой и всеми людьми и созданиями. Христоликими душами своими притягивают они всё, что христолико в душах людских, и находят безгрешное даже в самом большом грешнике. Они принимают мир, но не принимают грехов мира; они любят грешников, но не любят грехов их. Опосредованный Христом, этот мир – лучший из всех возможных миров; однако люди сделали себя худшими из всех возможных людей. Христоликие герои Достоевского принимают мир из рук Богочеловека Христа, который таинственно и кротко побеждает грехи мира.

Чудесная и прекрасная Личность Христа – единственное, чему Достоевский поклоняется безоговорочно. Она для

него – единое на потребу; Она – полнота и реальность всего самого возвышенного; Она – сладость его жизни. Если упоминается Имя Христа в присутствии Достоевского, он весь дрожит. «Стоило мне произнести Имя Христа, – говорит Белинский, – у него (т. е. у Достоевского) лицо тотчас же менялось, как будто он хотел заплакать...» Не смейте хулить Христа в его присутствии, если не желаете, чтобы он взорвался апокалиптическими анафемами и обрушил их на вашу голову. Ревность за Христа снедает его. Достоевский не может без Него. Он всякое своё устремление завершает Им. Горькая тайна мира становится во Христе сладкой и святой. Жестокая тайна страдания, пронесённая через Христа, постепенно переходит в тихую, умильную радость. Достоевский это почувствовал и прочувствовал, и потому так безоговорочно предался Христу. Для него Христос – незаменимая, абсолютная и вечная Истина, которая выше всех логических, дискуссивных и научных истин да истинок. Его любовь ко Христу доходит до подвижнической влюблённости в Христа. Вот его исповедь: «Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим; и в такие-то минуты я сложил символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной».

Благодаря такому неустрашимому исповеданию веры во Христа Достоевский становится величайшим исповедником, типичнейшим и оригинальнейшим представителем Православия и православной философии новейшего времени. Мы говорим «православной философии», поскольку она существенно отличается от философий неправославных тем, что для неё последним критерием всех истин и ценностей является Пресветлая Личность Богочеловека Христа, а не Его учение. Ведь нечто сходное с христианством было и до Христа; некоторые христианские нравственные принципы и догматические положения имелись в иудаизме, подобных христианским максим немало и в буддизме, некоторые можно найти также в магометанстве; однако есть нечто, чего у них невозможно найти – невозможно найти единого на потребу. Они не имеют самого главного – не имеют Личности Богочеловека Христа. А без Личности Христа все Евангелия, все послания, все догматики, все христианские вероисповедания становятся безжизненными, мёртвыми формулами. Личность Христа – единственная живая сила, чудесная и чудотворная; в Ней Достоевский нашёл всё и стоит за Неё по-исповеднически, по-великомученически смело и неустрашимо. В Ней, только в Ней, видит он решение не только всех личных, но и всех общественных проблем. Где есть Лик Христов, там для Достоевского истинные прогресс и просвещение, истинные свет и радость. Если же спрашиваете у Достоевского:

– Где имеется Лик Христа, где Он хранится?

Достоевский недвусмысленно отвечает:

– В Православии, только в Православии.

– А католицизм, а протестантизм?

– Увы, – вздыхает Достоевский, – католицизм обезобразил Лик Христа, он обезображенного Христа и проповедует; а протестантизм Его давно утратил.

Христоликие души героев Достоевского ревностно хранят этот прекрасный Лик и своими жизнями создают теодицею, христоодицею. Христоликие личности – единственно истинные православные философы; их философия опытна и христотканна; единственно они способны создавать православную теодицею. Через них Достоевский переживает наивысший синтез личности и жизни; в них воплощает он свою Христолюбивую и Христолюбимую душу.

И отрицательные, и положительные герои Достоевского – неустрашимые борцы за личность. Они мученически ищут разгадок предвечней загадки личности и ужасной загадки жизни. Они не имеют покоя в телах своих; ужасы жизни бьют по ним. Через них Достоевский проносит свою бурную душуБеспредельную тайну своей личности он воплощает в них; пожаром вечных проблем сжигает кровь их; через них приходит к своим дьяволовицею и теодицею; через них задаёт и решает мучительную загадку жизни. Но, разгадывая загадку его очень сложной личности, многие приходят в соблазн от него. И это не удивительно, ибо от самых больших личностей и приходит в соблазн самое большее число людей. Они – воистину камень преткновения и соблазна для многих. Личность Христа является самым показательным примером этого. Достоевский же, несомненно, – наиболее загадочный «икс» в весьма сложном уравнении славянской жизни. К поиску значения этого необычного «икса» и мы прилагаем свои убогие силы. Для этого смелости нам придаёт сам Достоевский, ибо он бес-

конечно милостив, хотя и страшен в величии своём. Ибо если вы печалитесь, он тоже всем сердцем разделяет вашу печаль; если вы в отчаянии, он – ваш друг, ваш брат, близнец и утешитель; если вы атеист – и сам он страдает с вами, мучится вашими муками, защищает атеизм на удивление всем, минирует вас бунтом и безумным отчаянием, чтобы в конце концов оба вы с криком бросились к ногам Иисуса. Если вы преступник, он вас милостиво примет под кров своей многострадальной души, сделает вашу душу своей, переболеет с вами вместе вашей болезнью, изложит вам ошеломляющий психологический диагноз и историю вашей болезни и вылечит вас, ибо он сам болен и привычен к болезням. Если вы мучимы и искушаемы ужасными «проклятыми вопросами», он вас обнимет, как самого родного, ибо он сам тоже был искушаем и потому способен помочь искушаемым. Если вы верующий, он умножит вашу веру до влюблённости во Христа. Если вы оптимист, он поведёт вас к ещё большему, высшему и наивысшему оптимизму; он вас убедит, что чудесная Личность Богочеловека Христа – единственный настоящий, единственный вечный, самый высший оптимизм и благовествование.

Достоевский не поддаётся изучению без мук, без рыданий и слёз. Изучать Достоевского – значит мучиться его пожизненной мукой, мучиться вечными проблемами. Многие–премного при изучении его, потеряв рассудок, в отчаянии задают вопрос:

– Доколе, скажи, ты будешь мучить наши души?

– Пока не решите вечные проблемы, – гласит его ответ.

Мы осмеливаемся войти в исследование тех основных творческих психических

законов, по которым созданы отрицательные и положительные герои Достоевского и которыми предопределено, чтобы они создавали немыслимую дьяволодицею и непревзойдённую православную теодицею.

Кто заражён дешёвым оптимизмом бесчисленных современных «осчастливи-

ливателей» человечества, пусть не входит в ад «православного Данте», ибо в адских глубинах его дьяволодицеи испарится весь мотыльковый оптимизм и сгорят все планы о преобразовании мира и человека на основе человекоманийных принципов «чистого разума» и «common sense».



Архимандрит Рафаил Карелин

Демоны и человеческая гордыня

Зло есть извращение жизни и подмена истинного содержания ложью. Зло имеет два аспекта. Зло как природа, субстанция не существует, однако каждый из нас чувствует его мощь и насилие, его чёрную энергию. Богословы с известным основанием говорят о том, что зло – это активная сила, так как оно нашло своё полное осуществление в ангелах ада – демонах, падение которых заключается не только в духовной ошибке и неправильном выборе пути, но и в сознательном волевом сопротивлении воле Божией, которая есть высшее добро. В демонах зло получило олицетворение; можно сказать, в демонах зло воплотилось. Поэтому если, с одной стороны, зло – это оскудение добра, то с другой стороны, оно – реальная сила, направленная против добра и борющаяся с ним.

Человек состоит из души и тела, человек сложен по своей природе. Природа Ангелов проста. Из-за простоты природы в них не может быть разделения между добром и злом. Они или всецело руководствуются волей

Божией и добром, или же всецело становятся на сторону зла и противления воле Божией. Для падшего ангела покаяния нет. У человека – непрерывный ряд искушений, непрерывный ряд падений, и в то же время – постоянная возможность восстания. Ангелы были испытаны один раз во время своего космического бытия, и это единственное испытание и искушение – искушение гордыней – навсегда, навечно определило их состояние. Содержание демонского бытия и его цель – это непрестанное сопротивление воле Божией. Само слово «сатана» означает «противник». Этот дух стал противником Бога. Внутреннее содержание демона – ненависть к Богу, ненависть колоссальной силы, напряжённости и размера. Никакой человек не имеет представления о демонической ненависти к Божеству.

Почему борется демон с человеком? Потому что в человеке – образ и подобие Божие, которые он ненавидит. Демон борется с человеком, потому что человека любит Господь. В человеческом сердце падшие духи нашли поле

для битвы с Богом. Бесы влияют на человека через извращение его мыслей, возбуждение в нём похотей и греховных страстей, склонение его воли ко злу и ко греху. Однако человек – свободное существо, нравственно самоопределяющееся. Связать волю человека демон не может. Тёмная сила лишь искушает и предлагает. Но принять или не принять демонические импульсы, последовать за ними или воспротивиться им – это уже личное дело, возможность каждого человека. В духовной жизни человек познаёт реальное сопротивление себе злой силы; особенно сильно чувствовали его монахи и отшельники, для которых внутренний мир был так же ясно созерцаем, как для нас – предметы мира внешнего. Как раз они-то, на основании своего внутреннего опыта борьбы с демонами, своего видения человеческой души, и составили столь необходимые для нас аскетические поучения, как, например, преподобные авва Дорофей, Иоанн Лествичник, Симеон Новый Богослов, Исаак Сирий и многие другие. В их творениях нет демонологии как теории, а описана борьба с демоном; в них, если можно так выразиться, тактика и стратегия духовной борьбы.

Итак, в сердце человека идёт непрестанная битва со злом. Но как возникает грех? Обычно демон предлагает человеку некий греховный образ или греховную идею; это – прилог. Однако душа человека не связана прилогом: она может принять его, отвергнуть или остаться к нему безразличной. Прилог – греховная мысль или образ – на первой стадии ещё не вменяется самому человеку в грех. Вторая стадия – это сочетание с греховной мыслью или образом, когда человек рассматривает их, не ста-

рается освободить от греховного образа или ложной мысли своё сознание, а входит с ними в контакт. Затем идёт согласие воли на принятие греховной мысли или образа. Эти фазы уже греховны для человека, они оскверняют его сердце. Однако и здесь человек может пресечь демоническое влияние. Только чем более углубляется этот процесс, тем труднее ему это сделать. Потом является у человека желание, то есть эмоциональная солидарность с грехом; после желания – решимость исполнить злое внушение на деле, созревает некий план осуществления. Затем следует само действие.

Грех, совершённый делом, становится изменой Богу и союзом с демоном. Поэтому каждый грех должен быть очищен покаянием, ибо он несёт в себе самом возмездие и наказание; грех нераскаянный отчуждает человека от Бога. Повторяясь, грех входит в привычку. У человека создаются определённые комплексы, затем привычка переходит в саму натуру, в саму природу человека. Грех не становится природой человека, но он внедряется в неё, как ржавчина в железо. Святые Отцы говорят о том, что вначале греховный помысл слаб, как младенец, но затем он вырастает в исполина – от греха, ставшего привычным, избавиться можно только лишь с помощью других (прежде всего – духовного отца) и по молитвам Церкви. Толкуя слова псалма: «Дочь Вавилона, опустошительница»... блажен, кто разобьёт младенцев твоих о камень» (Пс. 136, 8–9), святые Отцы видят в них указание на способ духовной борьбы. Вавилон – это ад, символ ада. Вавилонские младенцы – греховные помыслы; блажен, кто разобьёт их о камень, то есть блажен

тот, кто сразу же отринет греховный помысл. Под камнем в данном случае подразумевается Господь Иисус Христос и сила имени Его. Разбить вавилонских младенцев о камень – значит умертвить греховный помысл молитвой, содержащей в себе имя Божие.

Святые Отцы говорят о том, что сатана не ведаёт наших мыслей и намерений, однако он – тонкий психолог и, изучая жизнь каждого человека, может с большей или меньшей степенью вероятности угадывать, что думает и что делает человек. Дьявол сам влагает греховные мысли в наше сердце, участвует в каждом грехе и знает то, что внушает нашей душе. Поэтому все наши грехи открыты перед ним. Он не знает точно будущего, но, имея огромную информацию, может с большой вероятностью предполагать и догадываться о нём. Многие из сатанинских предсказаний сбываются, но не все. И человек, опытный в своём деле, тоже может предполагать и предугадывать, чем окончится то или другое событие, чем завершится та или другая работа. А ум сатаны намного превосходит возможности познания человека. Поэтому сатана через своих ложных пророков может говорить о будущем. Но опять же это – не видение Духа Святого, перед Которым грядущее так же ясно открыто, как настоящее, а только более или менее вероятные предположения духа падшего.

Сатана отпал от Бога через гордыню, то есть возомнил себя центром бытия и прельстился своей тварной красотой, красотой Первоангела, но всё равно красотой сотворённой и бытием ограниченной. Он сам себя обоготворил и поэтому потерял Бога, и, потеряв Бога, стал духом тьмы и зла. Демон находится в

состоянии борьбы с человеком; в этом – содержание его жизни, в этом – его мрачное адское злорадство. Соблазняя человека на грех, он считает себя победителем. Для сатаны, как уже было сказано выше, покаяние и восстание невозможны, потому что они предполагают борьбу доброго и худого в самом существе и победу доброго. В сатане и в демонах нет ничего доброго, что могло бы вступить во внутреннюю борьбу со злом. Сатана и демоны, будучи ангелами, походили на горящий пламень, но пламень погас безвозвратно. Что касается человека, то он был не пламенем, а только лишь тлеющим углём. И в этом после грехопадения его спасение, ибо в тлеющих углях остались искры, и эти искры можно снова раздуть; они продолжают гореть под золой. Перед человеком путь покаяния открыт до самой смерти. Однако святой апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет, что и человек может впасть в такое состояние, когда восстание для него уже невозможно и молитвы о нём не имеют силы (1Ин. 5:16). Это тот случай, когда грех глубоко внедрился в самую природу человека, и человек всем сердцем своим полюбил его. Это ужасное душепагубное состояние особенно ярко проявится в грядущем антихристе, который, хотя и придёт на землю как человек, но будет находиться под всецелым воздействием сатаны. Он будет человеком, но его воля настолько поработится сатаной, что последний будет жить в нём, как душа в теле.

Демон – дух гордыни; где гордыня – там и демон. Поэтому так страшна гордыня. Она отдаёт человека в руки падших духов. Святые Отцы пишут: «Дьявол искушает страстями, но для

того, кто горд, не нужно диавола, он стал диаволом сам для себя». Христиане больше всех грехов должны опасаться гордыни тайной и явной, в любых видах и под любыми масками, гордыни под самыми благовидными, так сказать, предлогами. Побеждается сатана только смирением; вне смирения победы над ним не существует. Однако не все правильно понимают смирение. Некоторые считают, что смирение – это какая-то покорность перед злом. Вовсе нет! Все истинные подвижники имели своей главной добродетелью именно смирение, но они предпочитали лучше умереть, чем согрешить, то есть перейти на сторону зла и уступить греху. Поэтому смирение вовсе не предполагает для нас какой-то капитуляции перед силами тьмы. Смирение – это правильная внутренняя духовная самооценка, видение своих грехов и недостойнств, постоянное чувство потребности в помощи Божией. Смирение – это уважение к каждому человеку как к образу и подобию Божию; будь даже этот человек нашим врагом, всё равно он – творение и образ Божий. Смирение – это умение во всех житейских ситуациях и конфликтах находить свою вину. Смирение восполняет скудные человеческие силы Божественной помощью.

А гордый всегда доволен собой. Он как бы говорит: «Мне ничего не надо; своей силой, своими достоинствами я сам могу добиться Небесного Царства; я сам могу победить сатану». И тем повторяет грех падшего первоангела: у него исчезает чувство острой зависимости от Бога и начинается самолюбование, нарциссизм – есть такой миф о прекрасном юноше Нарциссе, который увидел отражение своего лица в воде и не смог

оторвать глаз от собственного образа. Сущность гордого – тайное самолюбование, а значит – тайное отступление от Бога.

Гордый не может быть христианином, хотя бы и называл себя таковым, ибо гордый – эмоционально и духовно чужд Христу. Примером этого могут являться для нас ветхозаветные фарисеи. Вообще Евангелие – это та книга, в которой мы можем найти ответы на все вопросы, если только будем читать её внимательно. Фарисеи ждали Мессию, однако, когда Он пришёл на землю, они Его не узнали. Почему? Потому что они, в сущности, не нуждались в Нём. Фарисеи не чувствовали своего общечеловеческого падения, не сознавали необходимости покаяния. Именно потому Христос как Проповедник любви и покаяния вызывал у них только чувство раздражения, которое затем перешло в озлобление и лютую ненависть.

Человек гордый не способен к покаянию. Следовательно, он не способен и к возрождению. Покаяние – это осуждение себя прежде Всеобщего Суда над человечеством. Фарисеи были довольны собой и своими правилами, которые составили сами, принимали как должное всеобщее почитание и весьма любили, когда их называли учителями. Они непомерно гордились своим плотским происхождением от Авраама и, потеряв чувство своей греховности, совершенно не понимали, о какой свободе говорит им Христос, и отвечали Ему: Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда (Ин. 8:33). Но Писание говорит: Кто кем побеждён, тот тому и раб (2Пет. 2:19). Кто побеждён грехом, тот раб греха. И это самое мучительное, тираническое рабство.

Обычно мирские люди тоже не понимают, что они рабы – в смысле подчинения духу мира, языческому духу – мира с его страстным искусством, философией, идеями, условностями, этикетом. Большинство из них, наоборот, считает возможность исполнения всех своих прихотей и желаний признаком свободы. Однако внутренняя христианская жизнь открывает нам, что мы бываем свободны лишь тогда, когда исполняем волю Божию. Почему? – Потому что, исполняя свои прихоти и страсти, мы поработаем дух – душе, разум – чувственности, то есть лучшее – худшему. Страсти, если человек не преодолевает их, чувственность, если человек не контролирует её, становятся тиранами для человека. Ему кажется, что он свободен, что он осуществляет свои желания, а на самом деле он – раб своей худшей стороны; если можно так сказать, он – раб своей собственной болезни. Только тогда человек получает истинную свободу, когда живёт в гармонии с Божественной волей. Только исполнение заповедей Священного Писания есть истинная свобода. Почему? Потому что эти заповеди не чужды и не внешни для человека; они, в сущности говоря, и являются самым глубоким, самым лучшим проявлением его истинного «я». Поэтому, исполняя заповеди, человек живёт истинно достойной, человеческой жизнью. Тогда он воистину свободен.

Гордый человек никогда не может быть ни мирен, ни счастлив. Гордый находится в конфликте со всем окружающим миром, ибо считает, что именно он – центр мира, а так как невозможно заставить верить в это других, внутренне чувствует себя обиженным и оскорблённым. Даже если гордые люди объ-

единены на время какой-либо общей идеей, то это всё равно непрочный союз. Это союз, который распадётся и окончится враждой всех против каждого и каждого против всех. Гордец не может иметь ни мира, ни покоя. Он постоянно в смущении, всё время раздражён, никогда не бывает удовлетворён.

Гордый человек не может уважать другого человека, так как гордость – это ложное сознание своего мнимого превосходства. Гордый человек в глубине души считает, что все остальные могут быть только его рабами и исполнять лишь его волю. Гордые люди всегда являются насильниками других. Это насилие может проявляться в разных формах и в разных масштабах. Очень часто ареной такого насилия становятся отношения между супругами. И в этом – одна из причин непрочности современной семьи: вместо союза любви она превращается в непрестанную борьбу за власть между её членами, каждый из которых уверен, что будет благо, если он в своей семье станет повелителем и царём.

Гордый человек внешне может быть религиозен, но только внешне, потому что сердце гордого человека никогда не сможет горячо и покаянно молиться. Гордый похож на больного, который уверен, что здоров. Такой человек глубоко оскорбится, если скажут, что ему грозит смертельная опасность от болезни, хотя в это время он будет заживо сгнивать от какой-нибудь внутренней язвы или раковой опухоли.

Да, всякая страсть, всякая ложь, всякое зло – от диавола. Но гордость – самое страшное из всех зол для духовной жизни, самое большое уподобление демону. Гордый даже свои способности

обращает во зло. Поэтому благо для гордого не иметь никаких талантов. И Господь часто отнимает их у гордого для его же спасения. Существует духовное состояние, которое называется прелестью, когда гордость доводит человека до умопомешательства, и он приписывает себе способности чудотворца, пророка, духовидца, прозорливого и т. д. Люди, впавшие в прелесть, внешне похожи на безумных, но всякий гордый человек, в сущности говоря, и есть безумец, потому что вне Бога – область тьмы и безумия, а гордый выходит из центра жизни, удаляется от Бога. Поэтому священник, задача которого – быть проповедником Евангелия, совершителем таинств и духовным отцом, больше всего должен заботиться о том, чтобы искоренять у своих духовных детей гордость.

Гордый – это человек, отравленный ядом. Больше всего, наверное, любили людей Пророки и Апостолы, однако они предпочитали для блага своих ближних обличать их недостатки и пороки и большей частью страдали за это. Именно в этом и выражалась их любовь. Они хотели спасения другим, любили человека и поэтому ненавидели в нём грех. Духовный отец, который поощряет или хотя бы не искореняет у своих духовных чад чувство надменности, гордости, превозношения, тщеславия в любых формах, похож на отравителя колодцев, который тайно бросает в колодец яд, и тот, кто пьёт из него, умирает. Поэтому священник должен быть очень осторожен в похвалах. Похвалить человека можно в том случае, если он впадает в уныние и отчаяние – чтобы не потерял надежды. Но льстить человеку – это значит делать

его духовным трупом. Если человек поверит в свои мнимые достоинства, то ему останется только радоваться, что он «такой хороший». А когда иссякает покаяние, то уже нет продвижения вперёд, тогда появляется другая – центробежная – сила, и человек скользит вниз, сам не подозревая об этом. Святой Иоанн Лествичник пишет, что в час смерти многие будут проклинать своих духовных отцов за то, что те не были строги к ним. Истинная любовь выражается не в похвалах и не в сладких словах. Истинная любовь выражается в желании, чтобы все спаслись. Вся земная жизнь – время испытания, самоопределения и борьбы с грехом, поле битвы, где может быть или победа, или поражение. Истинно любит человека тот, кто хочет, чтобы человек освободился от своих пороков и грехов, и готов ему в этом помочь. Если духовный отец безразлично относится к порокам своей паствы, то, значит, он не любит её.

Наша жизнь – это борьба с тёмными духами. Ерма пишет, что около каждого человека есть тёмный и светлый дух; около каждого из нас стоит демон-искуситель. Все мы находимся в страшной духовной опасности, все мы стоим как бы на краю бездны. А гордый забывает об этом. Он похож на пьяного: пьяному кажется, что он сильнее всех, что он захочет – и перейдёт море, ударит по стене – и разрушится стена. А со стороны он жалок и смешон. Так и гордый человек. Но мало того, что гордец жалок и смешон. Весь трагизм в том, что он попадает под власть гордого духа – демона – и становится его покорным рабом.

Христианин должен прежде все-

го стяжать в своём сердце смирение. Смирение и грешника поднимет из бездны, а гордость и первоангела свергла с небес. Святые Отцы имели различные дарования, и они смиряли себя этими дарованиями, приписывая их только Богу, а не себе. Чем больше давал им Господь, тем смиреннее они становились и говорили: «Мы недостойны такой милости Божией», и считали себя хранителями чужого сокровища. Мы же и малое добро приписываем толь-

ко самим себе. Вот и в Церкви теперь не совершаются так явственно дивные чудеса, исцеления, явления сверхъестественных сил, как в первые века. Почему? Ради нашего спасения. Потому что мы и это припишем не Богу, а себе самим и обязательно впадём в надменность, кичение и превозношение. Ныне Господь, отвечая на наши молитвы и творя чудеса непрерывно, делает это сокровенно, зная, что мы можем превознестись самими милостями Его.

Из книги «Христианство и модернизм»



Федор Достоевский (1821-1881)

Старые люди

Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Белинский был самой восторженной личностью из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde*^[1] прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора-два десятилетия жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от наро-

да, они естественно потеряли и бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрёкся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и

[1] Русский дворянин и гражданин мира (франц.).

подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлексёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нём развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был – писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, своё воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, – всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*^[2], попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошёл, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землёй и с её идеалами. Белинский, напротив, – Белинский был вовсе не *gentilhomme*^[3], – о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.) Белинский был по преимуществу

не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись – от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутьё его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли

[2] Русский дворянин и гражданин мира (франц.).

[3] Джентльмен (франц.).

нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу её; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает её в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осуждённым современною наукой и экономическими началами; но всё-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своём Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de J̄sus»^[4], что Христос всё-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

– Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять

его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

– Ну не-е-т! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате.) – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошёл за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон,

[4] «Жизнь Иисуса» (франц.).

тогда ещё только начинавший свою деятельность. Этих четырёх, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, – Фейербах. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе говорилось с благоговением.

При такой тёплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею тёплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сомнений, не от разочарований, о нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой.

– Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской

железной дороги, тогда ещё строившейся). Хотя тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорожно:

– А вот как заруют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял всё учение его. Ещё год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жёны декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чём неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осуждённые мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал её иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я

знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными» и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приго-

ворах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться...

Из книги «Дневник писателя» (1873 г.)

**Иван Ильин (1882-1954)***русский философ, писатель и публицист*

Очки

Вы не носите очки? Жаль! В противном случае я рассказал бы вам кое-что об очках. Я ведь благодаря им кое-чему научился в жизни, что, возможно, было бы не без пользы и для других.

Ребёнком я не носил очки. Тогда для меня существовали лишь «чужие очки», в которые я с такой охотой и с таким любопытством смотрел. Но это всегда было разочарованием: всё сразу же становилось странно-расплывчатым, так жутко сдвинутым, неверным, обманчивым; или наоборот, все вещи становились забавно маленькими, будто они были отодвинуты вдаль, где они, как игрушки, педантично делали всё по-своему. И я тайне думал: «Та-а-а-ким он видит мир! Нет, мой мир лучше». – «Оставь, ты испортишь себе глаза!» – нередко раздавался строгий голос. Но я сам был счастлив вернуться к собственному «мировоззрению» и уже знал: чужие очки помогают нам мало.

Годы проходили без очков: к чужим я больше обращаться не хотел (они были неподходящими), а свои мне пока были не нужны. У меня была юношеская уверенность, что я «вижу всё правильно,

как оно есть в действительности»... Кто мог желать большего? И так я жил в наивном самодовольстве ничего не подозревающего создания.

Затем разразилась, большая война и вложила мне в руки цейсовский полевой бинокль. Внезапно мой горизонт сильно расширился. Было потрясающе – иметь возможность видеть так далеко, так ясно и так чётко. И каждый раз, когда я откладывал полевой бинокль в сторону, я ощущал, что моё зрение просто сузилось, а я сразу же попадаю к тем самым «карликам», которые своим слабым взглядом видят близоруко, а многое и вовсе не воспринимают. С тех пор я принял два решения: не переоценивать своё нормальное зрение и всячески лелеять его.

В тяжёлое и путаное послевоенное время у меня уже не было иллюзий. Я знал, что я плохо вижу, не могу обойтись без очков. И когда знаменитый глазной врач подобрал мне нужные очки и я впервые надел их, я удивился, как легкомысленно шагал я прежде по жизни со своим «зрительным» чванством. С тех пор я забочусь не только о своих гла-

зах, но и об очках, особенно берегу их от грязи и пыли, которые Бог знает откуда оседают на них. Кое в чём я всё же обязан опыту ношения очков...

Прежде всего, я совершенно не доверяю чужим очкам: я хочу всё видеть сам, ясно и отчётливо, то есть через собственные очки. Итак, они научили меня склонности к самостоятельности, следовательно, и к формированию характера. Правда, говорят, что «самостоятельные» «невыносимы и задиристы». Однако не надо становиться «всезнайкой» по профессии или впадать в буйную неуступчивость; всё важное должно лишь погрузиться в глубину собственной «самости», ибо в этой глубине формируется истинное и творческое убеждение.

Затем очки стали для меня постоянным предостережением от самодовольства и высокомерия. Мы все должны привыкнуть к мысли, что мало и плохо видим; что наш обычный глаз не охватывает много чего важного, а возможно, и самого важного, что у нас есть веская причина всегда думать о пределах собственных умственных способностей. Нет ничего более лёгкого, чем переступить эти границы; ничто так не естественно, как постепенное расширение этих пределов. Наше духовное видение ограничено; оно всегда может привести нас к иллюзиям и разочарованиям. И как вообще прийти к верным «духовным очкам», которые могли бы помочь и спасти?..

Не близоруко ли человечество вообще? Не бредёт ли оно на ощупь! Не принимает ли оно своё собственное движение вслепую за светлый прогресс духовного видения? Не предалось ли оно жалкому бахвальству хорошим зрением? Свои очки мы время от времени

чистим, снимая с них грязь и налёт. Но кто из нас думает о том, чтобы проверить и облагородить наши «духовные очки», расширить и углубить наш духовный взгляд? Кто знает пути и методы этого облагораживания? Как нам прийти к последней истине в духовном видении, которую философы называют «очевидностью», что означает: уже не временно-субъективное «воззрение», а законченное истинное «понимание»?

Как много людей носят очки, но чужие очки, которые они случайно нашли на улице и через которые они видят всё искажённым и сдвинутым! Но даже эти очки они не умеют верно носить и отчистить... И тогда они становятся для них роком.

Солнечный луч

Что бы мы пережили и что бы сказали, если бы у нас отняли солнечный луч? Вот так – внезапно, совсем, на неопределённое время, возможно, навсегда. Наступила бы тьма – беспросветная тьма, плотная, как сажа, без утренней зари, без дневного света, без вечернего сияния. Чёрные тучи над головой и гнетущая темнота на земле. И так – вниз головой в зияющую пропасть великого мирового круговорота? Страшно. А надолго – невыносимо.

И всё же люди это выносят! Какое множество... И вовсе не замечают этого.

Как много живёт на свете людей, которые из чисто просвещённого благоразумия укрылись за «отсутствием предрассудков», и «вон предрассудки» и окопались там, только чтобы не совершить никакой «ошибки», чтобы только не верить во что-то «необоснованное», «недоказанное». Из боязни обманчивой

«видимости», фальшивого или мнимого «блуждающего огня» эти мудрые рационалисты построили себе бетонный свод над головой и создали себе таким образом гнетущую тьму. Эта борьба в какой-то момент касалась всех любителей тьмы; а кто захочет защищать мракобесов? Чтобы только, ради Бога, из боязни тьмы не стать слепым; ибо в этом случае будет безнадежная, беспросветная тьма! Чтобы не выплеснуть с водой и ребёнка! Чтобы не отрезать вместе с волосами и голову! Старая добрая логика гласит: «Слишком много доказывать означает всё потерять». Один умный человек, который читал о бактериях, отказался от всего и забаррикадировался в камерке без воздуха и света. Что же произошло? Он сам стал очагом бактерий.

Кто хочет жить, должен нести все тяготы жизни. Кто несёт бремя, нуждается в утешении; тому нельзя ни в коем случае придавать своей жизни вид организованной безутешности. Что? Иллюзии? Нет, ничего подобного! Иллюзии не утешение. Мнимое утешение ведёт к отчаянию. Обман – отец разочарования. Человек, возможно, уже настолько зрел, чтобы воспринимать божественный солнечный луч без обмана и самообмана.

Ему надо лишь свободно и смело открыть своё око; и солнечный луч уже здесь, со всеми своими прекрасными дарами. Да, свободно! Ибо человек не тогда свободен, когда он закрывает глаза из боязни иллюзии, а тогда, когда он открывает их из глубины сердца. И смело! Ибо человек смел не тогда, когда он, подобно страусу, прячет голову в песок, а тогда, когда, светясь, предлагает орган восприятия солнечного луча – око – миру и Господу. Око здесь существует

для солнечного луча. В верно открытом око есть своё собственное солнце; и поэтому оно предрасположено к тому, чтобы верно увидеть большое и прекрасное солнце мира.

Но солнце мира не хочет, чтобы на него глядели, пялили глаза или просто глазели. Нет – его надо созерцать. Гегель сказал однажды: «Кто разумно видит мир и историю, того и они видят разумно». А кто созерцает мир с просветлённой любовью, на того он посылает любовь и свет. А любовь и свет – есть солнечный луч.

Главное

Жил однажды чужак – он потерял «главное». Он был очень богат и имел всё из вещей, что человек может себе только пожелать; и тем не менее у него не было чего-то, чего он даже и назвать не мог. Он так много мог, он почти всё смёл; но он не знал такого, к чему можно стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мёртвой. Ничто не радовало его, и постепенно его богатство становилось для него непосильным бременем. Тогда он пошёл к старой бабушке, которая пестовала свою древнюю мудрость в пещере дремлющей огненной горы, и рассказал ей о своей беде. «Отправляйся в большой мир, – сказала ему старуха, – ищи пропавшее; твоё несчастье велико – тебе не хватает «главного»; и пока ты его не найдёшь, жизнь для тебя будет бедой и пыткой». И несчастный отправился на поиски.

Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире и его духовном кризисе. Как богато человечество благами низшего порядка. И будет делаться всё богаче. Пространство

будет побеждено, воздух будет завоёван, таинственные свойства материи будут открыты и ими овладеют; добьются невозможного, услышат неслыханное. Всё новые и новые инструменты, средства и возможности будут предоставлены человеку в распоряжение. Но главное отсутствует.

«Как» земной жизни развивается безостановочно, успешно. Но «зачем» земной жизни незаметно затерялось. Да, незаметно: было лишь несколько столетий духовной рассеянности. Это так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, играл в шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление которого уже наполовину завершено; и вдруг – он забывает свой план. «Прекрасно! Но для чего я всё предпринимал? Чего я, собственно, этим хотел?!»

У большинства современников этот вопрос и не доходит до сознания. Они ничего не знают о «зачем?» жизни, как не замечают и то, что они невежественны. У них нет никакого ответа, и они не замечают отсутствия этого ответа. Потерянное, возможно, было бы найдено, но для этого надо сначала заметить его отсутствие; ведь лишь тогда несчастье становится устранимым, лишь тогда поиски возможны.

Стоит вспомнить о естественнонаучных и технических изобретениях последнего столетия. Пар, электричество, динамит, культуры бактерий, газ, железобетон, самолёт, радио; ближайшее, возможно, расщепление атома и кто знает что ещё. Само по себе – довольно и сверхдостаточно, чтобы создать нечто великое. Выход на такие пути предполагает, однако, всеобъемлющее окрылённое, дальновидное, целена-

правленное сознание, огромную духовно-воспитательную силу искусства. Жизнь без смысла становится опаснее, чем когда бы то ни было. Возможности строительства могут стать инструментами всеобщего разрушения. Ведь сами по себе они не «хороши» и не «плохи»; они лишь мощная, неопределённая «возможность», концентрированная потенция – подобно подписанному свидетельству о полномочиях, оставшемуся незаполненным; или рассмотренная с точки зрения опасности – дремлющая огненная гора, непредсказуемая и своенравная во всём.

Современное человечество должно хотя бы верно, интуитивно чувствовать – «куда» оно идёт, «зачем» ему даны эти возможности, «как» надо употребить, применить всё это, чтобы творческий путь не превратился в путь руин. Ему следовало бы также знать, что лишь духовно укоренённый, благородно-желающий, дисциплинированный человек в состоянии не злоупотреблять этой концентрированной потенцией. Позволяют ли ребёнку играть с порохом? Не рок ли это, если ученик волшебника вызывает духов, от которых он не знает, как избавиться? Что получится, если кучка лишённых духовных корней и нравственно разнузданных «завоевателей мира» начнёт возиться с инструментами современной химии, техники и науки о бактериях?

Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного – смысла жизни. Он должен отправиться на поиски. И пока он не найдёт главного, беды и опасности будут подстерегать его всё чаще и чаще... Пока он не вернётся к откровению Христа и не станет вновь его исповедовать.

Без святыни

Всем всё более становится ясным, что нам чего-то не хватает, чего-то очень важного, чего-то существенно. Мы недосчитываемся его и не знаем, что это такое. Было ли так всегда? С каких пор это так? Довольно трудно сказать. Сначала мы почувствовали это во время войны, лёжа в окопах, где бодрствовали ночами, и звёзды стояли на небе. А затем – в неурядицах послевоенного времени, где всё казалось таким бессмысленным, безнадёжным, невыносимым.

Но ни одна жизнь не бессмысленна; и тот, кому неотступно смотрела в глаза смерть, вообще не может выносить более бессмысленной жизни. Ибо смерть обладает силой вопрошать о смысле жизни так, что приходится давать честный ответ. Лишь простая честность, лишь полная откровенность могут её удовлетворить; но то, чего мало ей, также не сможет дать и нам ни удовлетворения, ни покоя. Нам нужен этот покой – не как подушка лентяю для сна жизни, но скорее как духовная уверенность, как источник душевного равновесия, как возможность созидательной сосредоточенности...

Современному человеку становится всё яснее, что он живёт без святыни и что жизнь без неё будет невозможно вынести. Он всё больше понимает, что его жизнь осквернена и жаждет святыни. В этом он прав. Не в том смысле, что объективное существование мира как-то «потеряло своё значение» и сейчас лежит перед ним осквернённое и мелкое. Здесь, скорее всего, всё по-прежнему. Как и прежде, перед его очами раскрывается молчаливая тайна небосвода,

как и прежде, благоухают самые причудливые цветы, ему поют прекраснейшие голоса мира; как и прежде, предлагает ему свои неисчислимые дары мировая история, борется за своё тысячелетнее сокровище отчизна, борется и молится, и побеждает трудящийся люд. Осквернён не мир как таковой; он остаётся тем же, чем был всегда – великим иероглифом Господа, воспламенённым и оживлённым божественными лучами света, богатый огромным внутренним значением, призванный стать выдающимся произведением искусства...

Осквернение относится к самому человеку, к внутреннему устройству его души, его восприятия, его сердца и, соответственно – к возникшему в нём образу мира. Его духовная жизнь как бы опустошена и обессилена; ему не хватает силы разъединной сомнением веры, власти безоговорочной отдачи, силы окончательной очевидности. Душевно-духовные органы, которые призваны найти святыню и восславить её, как бы поражены параличом. Он смотрит в мир и не видит в нём ничего Божественного и Святого; так и в истории, в своих ближних и в себе самом. То, что он видит, это как бы мир без солнца. Так он носит в себе мировоззрение без солнечного света: холодную тьму, ужасную бездну, где мёртвая машина продолжает стучаться в вечность...

Современный «просвещённый» человек ведёт таким образом, скверную жизнь. В нём погасло святое пламя сердца. Ему недостаёт духовной энергии убеждения, порыва духовной страсти, без которых в мировой истории не свершалось ничего великого. Он слишком «умён», чтобы быть цельным. Он слишком «образован», чтобы неизменно во

что-то верить. Он слишком «скептичен», чтобы стать сильным. Он слишком слаб, чтобы следовать Богу.

Тогда как действительно непобедимая и неиссякаемая сила вливается в человека из Святыни.

Что я думаю...

Что я «думаю» – довольно незначительно; ибо я «просто думаю». Кого касаются мои «мнения»? Никого. И это кажется мне правильным. Ведь это суть «мнения». Что можно построить на «мнениях»? Ничего. «Мнения» не многим более, чем песок или трясина. Стоит лишь подумать о том, что каждый из нас может произвольно менять своё «мнение», так просто, без причины, в два счёта. Как часто? Так часто, как ему нравится. «Я считаю», «мне казалось», «по-моему», «я придерживался мнения»; и внезапно снова – совсем по-иному. «Мнение» – это лёгкий мотылёк, он прилетел сюда из чужих краёв, порхая, помашет крылышками и исчезает туда, откуда он прилетел. «Мнение» ни к чему не обязывает; оно также ни за что не ручается. Оно есть безответственное высказывание о вещах и вопросах, которые «ещё» ускользают от нашей оценки или «уже» ускользнули от неё, выход за пределы собственного рассудка. Оно хорошо для времяпрепровождения, светской болтовни, шуток, сплетен. И если его, как таковое, наивно принять всерьёз, появятся ложные сведения, заблуждения, иллюзии, мучительные жизненные ошибки, неудачи, брань и междоусобицы. Особенно в тех случаях, когда люди не понимают, что их «мнения» есть «не что иное, как просто мнения».

В каждом серьёзном случае «мнение» просто опасно и может стать роковым. «Я считал», что поезд отправляется на четверть часа позже, и вот пропустил серьёзное дело. «Я считал», что справа не будет больше ни одной автомашины, и благодушно пошёл через дорогу, и вот лежу дома с ушибами. «Я думал», подобное можно рассказывать, а теперь узнаю, что это называется клеветой и наказуется. Теперь я понимаю, что мой отец со своим вечным наставлением: «Ты должен разузнать, а не предполагать», был прав.

Эта истина не только для внешнего опыта, но и для внутреннего. Кто в мире науки принимает всерьёз некомпетентное, беспредметное «мнение»? Для исследования нужен предмет, а не субъективное «мнение». А в области нравственности – действительно ли хорошо то, что называют «хорошим» легкомысленно «думающие» люди? Где тот муж, чей субъективно-мыслящий произвол дал бы переоценку благородному деянию и квалифицировал его как преступление против нравственности? Что даст искусствовед, который застревает в своих субъективных «ощущениях», «впечатлениях» и «настроениях», не касаясь существа дела? Что делать с «мнениями» в религии, где также речь идёт о том, чтобы признать нечто «объективно существующим»? И если в политике каждый довольствуется своим «мнением» и проходит мимо великого дела, которое касается всех и каждого, а именно – дела общечеловеческих ценностей, что получится в результате, если не гибель? Ни одна хорошая книга, ни одна серьёзная газетная статья не помещают «просто мнений», не делают этого даже тогда, когда они из так-

та или любезности преподносятся как «безобидное мнение». Тем самым общая культура человечества хочет, чтобы мнение не оставалось «просто мнением», чтобы оно, соответственно опыту, было углублено, наглядно представлено, облагорожено.

Во всех областях жизни «просто мнению» противостоит предметное, объективное положение вещей, которому мы должны следовать в своих мнениях. Конечно, человек не может жить без мнений; он должен предполагать, это ясно. Но «мнение» это лишь начало, лишь «приблизительное», лишь субъективное впечатление; не более чем «моя внезапная мысль», которая пока что удовлетворяет мою личную потребность в оценках жизненных содержаниях, и не обязательно может быть «ошибочной». Если же мысль хочет быть не просто формальной, но и уважаемой, она должна подходить к себе самой серьёзно и ответственно; должна быть выношенной, проверенной, «обоснованной»; должна сама обратиться к предмету, уцепиться за него, ему служить, выразить его содержание и лучи света в нём. Поскольку мнение определённо имеет в виду предмет, его ценность, его достоинство, оно становится «взглядом», «взгляд» углубляется до «понимания», и в конце нам светит «очевидность». Тогда истина осознана, и о «мнении» речь больше не идёт. А если и теперь говорят о мнении, то только исходя из деловой скромности и благожелательной терпимости.

Таким образом, то, что привязывает людей к «просто мнению», не скромность, а скорее наивность или безответственность. Истинная скромность, напротив, учит человека считать себя и

свое «просто мнение» неважным, а скорее – искать предмет, говорить языком сути его, а затем благосклонно и спокойно означить приоткрытую истину о нём мнением. В связи с этим Иоганн Готтлиб Фихте однажды разразился бранью в адрес людей, застревающих в своих «мнениях»: вот это и есть «заносчивость, не имеющая себе подобных»...

Следовательно, довольно незначительно также и то, что «думаю» я.

Убеждение

«...И без убеждения достойной жизни нет!»... В этот миг я вошёл в купе и поздоровался. Господин постарше вскипел, не отвечая на моё приветствие.

– Ах, это так старомодно! Кого теперь занимают подобные вещи? Ведь всё так или иначе относительно, обусловлено, зависит от обстоятельств! В реальной жизни речь идёт в лучшем случае о «подходящих мнениях» или «кажущихся истинными диагнозах». Кто живёт теперь, в нашу просвещённую эпоху, с «убеждениями» или «по убеждениям»? Станет ли утверждать подобное образованный врач?!

Господин помоложе сохранял драгоценное спокойствие. Лишь его глаза, казалось, тайком посмеивались.

«Вы меня удивляете, господин тайный советник! Я смущён. Как я могу ответить на Ваш гнев, если знаю, что приговорён с самого начала? Тем более, что в Ваших вопросах звучит твёрдое убеждение, что убеждений нет и быть не может. Моё положение несколько затруднительно: Ваше убеждение чувствует во мне убеждение противоположное, да ещё говорится, его и быть не может. А если быть не может, как я смею

защищать своё? Поэтому я вынужден просить Вас, терпимого релятивиста, о снисхождении и терпимости. Но я уже вижу Вашу добрую улыбку»...

«Хорошо, дорогой коллега, я снова кроток. Но «убеждение», как таковое, остаётся для меня всё же психологической загадкой. Я надеюсь, Вы не станете отрицать, что всё на свете относительно? Откуда же тогда эта уверенность у так называемых «убеждённых» людей?»

Господин помоложе внезапно посерьёзней. Внутренний накал чувствовался в его слегка приглушённом голосе.

«Мне остаётся защищать моё «на-том-стою». Насколько я понимаю, не всё так относительно: существуют абсолютные конечные истины, которые переживаешь в так называемой «очевидности». Этим я, конечно, вовсе не хочу вас рассердить. Я бы хотел предположить, что всё в действительности «относительно», и – попробовать отыскать дорогу к убеждению».

«Вот и попробуйте, пожалуйста», – ободряюще обронил господин постарше.

«Всё относительно» означает то же, что и «ничто не достоверно»; то есть что всё изменчиво, текуче, условно и сверхусловно, обманчиво. На этом ничего не построишь. Отсюда настоящая потребность в твёрдой почве, поиски фундамента, воля к «не-относительному». Глубокая и искренняя потребность – ручательство того, что сам принимаешь в этом участие сердцем и умом, что не скользишь равнодушно по поверхности вещей. Исследовательская работа со своей стороны требует сосредоточенности и неутомимости. Так воля создаёт своеобразный внутренний опыт.

При этом не пытается из всего выделять «относительное» – его так легко найти, оно объявляется само, но возникает вопрос, есть ли что-нибудь в жизни, что, несмотря на свою условность, установлено безусловно и имеет силу. Такая постановка вопроса открывает перед человеком как бы новое измерение: глубины, погружения и укрепления. При этом остаёшься совершенно трезвым, осторожным, проверяющим; ничего от меланхолии и мечтательности. Ощупью ищешь какую-нибудь скалу; затем взбираешься на неё; затем твёрдо встаёшь на неё и даёшь потоку относительности нестись мимо тебя. Разумеется, я описал всё это лишь образно; но, возможно, в качестве психологического намёка и этого довольно. Точно так же и у нас, в медицине, необходимо погружаться в предметные дебри, или – если хотите – на дно морское. Истинное убеждение получаешь, конечно, при помощи свидетельства людей и чужих описаний, но сначала через жизнь в предмете; ибо предмет всегда наилучший свидетель, наилучший путь к истинному убеждению; он есть сама скала. И наши древние предки были правы, строя свои замки и крепости на скалах. Подобным образом люди приходят к таким переживаниям, как совесть, достоинство, честь, право, Родина и приобретают твёрдые, как скала, убеждения»...

«Ну, – проворчал с некоторым недовольством господин постарше, – я и не знал, что Вы профессиональный философ. Кстати, нам выходить, если мы намереваемся успеть на сессию».

На этот раз оба попрощались со мною довольно любезно. И государственный советник, конечно, пошёл впереди.

Кто я есть

Я всегда стараюсь различать – кто я есть в действительности и каким меня видят другие. Других ведь – неопределённое количество, и каждый видит меня на свой лад. Как я с этим примирюсь – второй вопрос; но я навсегда останусь тем, кто я есть в действительности. Один меня переоценивает, от этого я не стану лучше; другой недооценивает меня, от этого я не стану хуже или незначительней. Тот, у кого есть хотя бы небольшой жизненный опыт, знает, как доброе имя человека можно испоганить сплетнями, злословием или клеветой. Как подумаешь, чего только о нас не говорят! Чего только не поведает глупейшая сплетня, чего не сумеет выдумать злостная клевета. Невероятно. Часто бесстыдно. Если это слышит юноша, он возмущается и мечет искры; зрелый мужчина презрительно отмахивается; пожилой замкнётся и бровью не поведёт. Глупые или злые люди мелют вздор, что зачастую вовсе нелегко вынести; однако каждый должен однажды глубоко прочувствовать, что, несмотря ни на что, он остаётся тем, кем является в действительности.

Надежда всем понравиться наивна и бесперспективна, так же как и желание, чтобы тебя все видели в верном свете и оценивали справедливо. Это особенно относится к нашему полному страстей бурному времени. Чем сложнее, тоньше и глубже внутренняя сущность человека и чем эффектнее его внешность, тем менее верно его нередко воспринимают, тем несправедливее оценивают. Нам, обычным людям, конечно, легче: кто интересуется нами? Кто станет нам завидовать сверх меры? Ведь воробы –

и те пролетают мимо нас равнодушно. А тем не менее мы имеем дело с «кривым зеркалом» общественного мнения, утверждаемся по отношению к нему и защищаемся от него.

Нам надо раз навсегда примириться с тем, что каждый из нас носит в себе «отображение» («имаго») и что это «отображение» не является «подобием». Мы не должны гоняться за своими отображениями в чужих душах, чтобы их подправить или украсить. Скорее целесообразно великодушно и благородно предоставить всем людям «право на заблуждение» в этом отношении и не вваливать на себя обязанность правдивой «ретуши». Стоит представить себе, какой бы это был сумасшедший дом, если бы все гнались за тем, чтобы залатать или украсить свой собственный «имаго» в соответствующей чужой душе, – недостойное занятие для людей с комплексом неполноценности.

Неверно ставить своё бытие в зависимость от чужих людей; доверять собственное достоинство чужой близорукости или враждебности; позволить исчезнуть центру личной жизни. Бытие стоит впереди видимости, а элемент обманчивости неотделим от существования видимости. Моё бытие должно быть верным, тогда пусть моя видимость будет неверной. Я не то, что говорят, а возможно, шепчут или кричат обо мне другие. Я нечто гораздо большее, чем перекрестье их непонятливых, злобных, низких фантазий.

Но всё же кто я? Я то, что я искренне есть. Я то, о чём от всего сердца откровенно, не колеблясь, высказываюсь. Я то, на чём моя сущность сосредоточивается в любви и возносит молитву. Меня надо искать там, где во мне исче-

зают боязнь и страх. Меня можно найти там, где во мне созревают судьбоносные решения, где начинаются решительные и смелые поступки моей жизни. Я там, где действую; я то, что делаю. Тут я «действительно»; и это также моя «действительность». Я – моё «око». Я – моё «сердце». Я – моё «слово», которое образуется из «понимания» сердца. Я – моё «деяние», которое следует моему оку, сердцу, слову. И если всё это есть я, тогда мне недостаёт лишь последней уверенности, что это действительно я. А если у меня эта уверенность есть, тогда я ношу в себе истинный источник своего личного достоинства, и меня не выведут из себя чужие пересуды и лепетанье.

И если обманчивая видимость сбивает с толку и правит миром, меня она не сможет ни соблазнить, ни захватить врасплох. «На том стою. И не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь». Мир можно исцелить лишь духовным достоинством и верностью, лишь мужеством быть тем, кто ты есть.

Очевидность

Как часто живут столь непосредственно, что дают потоку обстоятельств, впечатлений и событий проплывать мимо! А надо столько всего создать, исполнить, уладить. Слушаешь чужие мнения, видишь убеждённых людей – а сам погружён в тёпленькое безразличие: не отдаёшься ничему, «сдержан», «сохраняешь дистанцию» и считаешь это «умным для жизни» и «аристократичным». В действительности же остаёшься проблематичным ничем, такой «сдержанной» пустотой, такой «сохраняющей дистанцию», изображающей аристократа стерильностью.

Чего недостаёт таким людям? Должно быть, чего-то принципиального?

Им недостаёт силы очевидности, этой великолепной способности что-то окончательно понять и признать истинной; этой творческой способности быть настолько захваченным истиной, что вся душа растворяется в ней. Для этого нужно многое. Прежде всего – глубина восприятия, которая исключает любую плоскую поверхность – это скольжение мимо великого дела; отсюда: дар собраться, сконцентрироваться, чтобы не расколоться на куски, столкнувшись с многообразным шумным миром. Плюс пророческая, интуитивная одарённость, как бы незамутнённое духовное око, которое без помех, верно воспринимает лучи света в мире. И наконец – своего рода целостность внутренней сущности, что не позволяет вести вечную «гражданскую войну» между мышлением и чувствованием, волей и страстью, фантазией и активностью. Это те четыре силы, которые могут преодолеть просвещённого критикана, во всём сомневающегося брюзгу, стерильного педанта в нашей душе и проложить дорогу к очевидности; это как бы четыре столпа, которые несут купол очевидности.

Очевидность – вовсе не простое, будничное «считать за истину», что возникает без особой причины, существует временно и от которого равнодушно отказываются. Очевидность – и не чисто субъективное «кажется», которое охотно называют «интуицией», чтобы сказать, что имеют дело со своеобразным «озарением», из-за которого надо как можно скорее устранить любое сомнение и любую критику: «Господь даёт это своим во сне».

Очевидность – это свет; но не всякое мерцание свечи приносит нам очевидность. Существуют также галлюцинации и отражение в воздухе. Очевидность – это свет, который идёт от самого предмета, охватывает и наполняет нас, овладевает нами; и человек должен прийти через борьбу к этому предметному свету.

В этой борьбе к месту любое искреннее и объективное сомнение, не надо с ходу отметать разумную и доброжелательную критику: очевидность не боится её, устоит. Вредна лишь злук-мания сомнений; лишь необъективное, слепое критиканство действует разрушительно. Честное, глубокое сомнение есть не что иное, как жажда очевидности. Кто удостоверяет непредвзято, тот подтвердит; кто открывает око, тот увидит свет. Поэтому при желании истинную очевидность можно опять же пережить, пересмотреть, удостовериться.

Стоит ей однажды появиться, как душа чувствует себя захваченной истинной. Нет более сомнений, нет «сдержанности», нет колебаний, нет релятивистских уловок. Это сам предмет светит нам тогда, «свидетельствует» о самом себе, говорит безмолвным, но могучим

языком и окончательно «убеждает» нас. Тогда мы переживаем полную ясность, «чёткую достоверность» (Лейбниц), счастье «встречи», после которой не будет «разлуки».

Тем самым очевидность в великих делах означает внезапное прекращение, конец и начало нового бытия. Однажды пережившего её человека очевидность делает любящим, горящим и светящимся; теперь он может открывать глаза другим людям; теперь он призван вести их. Такая очевидность восхищает человека и просветляет его душу. Она даёт ему якорь, твёрдое положение и характер. Она делает его цельным и здоровым: теперь он любит то, чем живёт, и живёт тем, что любит. А за то, что человек так любит и так живёт, он борется до смерти; и если он пал в борьбе, то пал как победитель.

Очевидность подобна молнии, ударившей в жерло кратера дремлющего вулкана, чтобы он проснулся и послал своё пламя в небо; или, возможно, – гранате, попавшей в безмолвный колокол, чтобы он зазвучал и дарил свой голос людям. Мировая история знает времена, когда целые народы беспомощно и страстно ждали этого голоса...

Из книги «Возвращение»



Александр Шишков,

русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824). Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих российских идеологов времён Отечественной войны 1812 года, известный консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 года. Президент литературной Академии Российской.

Шишков родился в семье инженера-поручика С. Я. Шишкова. Формирование мировоззрения Шишкова происходило в условиях патриархальной русской семьи, под влиянием чтения традиционной православной литературы: «Псалтыри», «Часослова», «Четьих Миней». Образование Шишков получил в Морском кадетском корпусе в Петербурге, будучи одним из лучших учеников. В корпусе Шишков изучил специальные науки, относящиеся к морскому делу, словесность, генеалогию, риторику, иностранные языки, познакомился с произведениями М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина и др. писателей-классицистов XVIII в., оставшись на всю жизнь их почитателем и подражателем. В 1771 г. вышел в гардемарины, а в 1772 г. окончил корпус в звании мичмана. В 1776 г. на фрегате «Северный Орёл» совершил путешествие, длившееся 3 года. Шишков побывал в Италии, Греции и Турции. По возвращении Шишков был произведён в лейтенанты и с 1779 г. преподавал в морском кадетском корпусе морскую тактику, одновременно занимаясь литератур-

ной деятельностью, гл. обр. переводами (напр., французской мелодрамы «Благодеяния приобретают сердца»), составил 3-язычный англо-французско-русский морской словарь. Собственная литературная деятельность Шишкова началась с сочинения пьесы «Невольничество» (1780), в которой прославлялась Екатерина II, выкупившая за большую сумму из рабства у алжирских мусульман христианских невольников. Перевод с немецкого «Детской библиотеки» И. Г. Кампе, состоявшей из нравоучительных стихов и рассказов для детей, принёс Шишкову всероссийскую известность, выдержав не одно переиздание, вплоть до 1830-х годов. По ней обучали дворянских детей грамоте. В книге были стихи и рассказы самого Шишкова. Кроме того, в дальнейшем Шишков писал торжественные оды, посвящения великим деятелям екатерининской и павловской эпохи, стихи в альбомы.

Литературные занятия Шишкова были прерваны русско-шведской войной 1788–90 гг., в которой он командовал фрегатом «Николай» в чине капитана 1-го ранга. За участие в войне Шишков получил золотую саблю с

надписью «за храбрость» и золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку. В 1793 г. Шишков преподнёс вёл. кн. Павлу Петровичу перевод с французского «Морской тактики», снискав тем самым в дальнейшем его расположение. Вскоре после этого Шишков принял должность правителя канцелярии по морской части при кн. Зубове. По вступлении на престол в 1796 г. имп. Павел I произвёл Шишкова в капитаны 1-го ранга, пожаловал 250 душ в Кашинском уезде, а после коронации назначил его в эскадр-майоры при своей особе, а затем в генерал-адъютанты. По поручению императора Шишков был отправлен в Вену для вербовки на русскую службу голландских офицеров и матросов. По не зависящим от него обстоятельствам Шишков не мог исполнить этого приказа и испросил разрешения Павла I на поездку в Карлсбад. Отпуск он получил, но с условием, что будет следить и доносить за находящимися в Карлсбаде русскими сановниками (Зубовым, Орловым, Разумовским), что возмущало и тяготило Шишкова. По возвращении в Россию Шишкова постигла опала за то, что он, будучи на дежурстве, задремал и не заметил, как мимо него прошёл император. Он был удалён от двора, но вскоре после этого был уже назначен членом адмиралтейств-коллегии, произведён в вице-адмиралы и пожалован орденом св. Анны I степени.

Воцарение на престол Александра I Шишков приветствовал радостной одой, однако вскоре был глубоко разочарован либеральным и западным курсом нового императора. Виновниками этого Шишков считал воспитателя царя Ф.-Ц. Лагарпа и

членов «Негласного комитета» – «якобинскую шайку». Последних он обвинял в неопытности, отсутствии знаний отечественных традиций, законов и обрядов, в неразумном следовании за «духом времени». По мнению Шишкова, «Молодые друзья» императора были проникнуты новыми понятиями, возникшими из хаоса «чудовищной французской революции». К учреждению министерств, в которых ключевые посты получила «якобинская шайка», Шишков отнёсся отрицательно так же, как и к реформам, разработанным либеральным реформатором М. М. Сперанским. Ссора с влиятельным морским министром П. В. Чичаговым, которого Шишков обвинил в антипатриотизме, привели к новой опале. По удалении от двора, Шишков всецело посвятил себя научной и литературной деятельности. Избранный в 1796 г. членом Российской академии Шишков погрузился в изучение русского языка и истории.

В этот период своей жизни Шишков заявил о себе как о ведущем идеологе русских патриотических кругов. В наиболее полном виде его взгляды были изложены в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803). В «Рассуждении» Шишков резко выступил против тех, кто, по его словам, «заражён неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку». К таковым им причислялись не только литераторы сентименталистского направления, главой которых тогда был Н. М. Карамзин и которые задались целью усвоить западную словесность, по-преимуществу французскую, создав в литературе сентиментальный «новый слог», но и значительная часть русского

высшего дворянского общества, которая была полностью или частично сориентирована на французские культурно-поведенческие модели.

Галломания являлась тяжкой духовной болезнью, поразившей русское общество. Шишков писал: «Они (французы. – Ред.) учат нас всему: как одеваться, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться, и даже как сморкать и кашлять. Мы без знания языка их, почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу по-французски. Благородные девицы стыдятся спеть Русскую песню». Всё это представлялось Шишкову чрезвычайно опасным для самой будущности русского государства и народа, поскольку «ненавидеть своё и любить чужое почитается ныне достоинством». Всё это явилось следствием вытеснения или полного отсутствия национально-го воспитания. «Начало оного («крайне-го ослепления и заблуждения нашего». – Ред.) происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своём, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своём никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но ещё многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством, хвастают и величаются». Подобное положение совершенно недопустимо, ибо означа-

ет, что французы, по сути дела, завладели Россией без единого выстрела и господствуют над ней. Возникло своего рода моральное рабство, которое по своим последствиям хуже физического порабощения, всё же оставляющего надежду на грядущее освобождение: «Народ, который всё перенимает у другого народа, его воспитанию, его одежде, его обычаям наследует, такой народ уничижает себя и теряет собственное своё достоинство; он не смеет быть господином, он рабствует, он носит оковы его, и оковы тем крепчайшие, что не гнушаются ими, но почитает их своим украшением».

Процессы всеобщей деградации, «растления», «заразы», по Шишкову, начались прежде всего в результате массового наплыва галлицизмов в русский язык и заимствования чужих обычаев. Всё это расценивалось Шишковым как своего рода подрывная акция со стороны сознательных и бессознательных врагов России. Для национально ориентированных русских мыслителей фундаментальным началом народного воспитания был язык. Именно поэтому «Рассуждение» являлось не только филологическим трактатом, но и политическим манифестом.

Согласно Шишкову, заимствования из современных французских книг были недопустимы, ибо «нигде столько нет ложных, соблазнительных, суемудрых, вредных и заразительных умствований, как во французских книгах». Причины подобного отношения Шишкова к французской литературе и французам определялись полным неприятием идей Просвещения и кровавым опытом французской революции, реализовавшей эти идеи. Оно носило идейный, консерва-

тивно-охранительный характер и было обусловлено стремлением противопоставить «просвещенческому проекту» собственную национальную русско-православную традицию, ядром которой выступал язык. При этом язык выступал в понимании Шишкова как субстанция народности, квинтэссенция национального самосознания и культуры.

Пафос критики Шишкова определялся его общей установкой, согласно которой современный ему русский язык должен формироваться прежде всего на собственной традиционной основе, ядром которой выступал церковнославянский язык, а также язык русских летописей, древнерусских литературных произведений и грамот. Согласно Шишкову, русский язык, через церковнославянский, является прямым «наследником» античной языческой греческой древности и христианско-православной Византии. Противники Шишкова приписывали ему мысль о полной недопустимости каких-либо заимствований из др. языков. На деле он не отвергал в принципе самой возможности языковых влияний. Его взгляды на эту проблему выражались следующей формулой: «кто желает действительную пользу приносить языку своему, тот всякого рода чужестранные слова не иначе употреблять должен, как по самой необходимой нужде, не предпочитая их никогда Российским названиям там, где как чужое, так и своё название с равной ясностью употреблены быть могут».

Недопустимость подражательства революционным и либеральным западноевропейским образцам и отказа от собственных традиций, необходимость опоры на собственные традиции (язы-

ковые, религиозные, политические, культурные, бытовые (напр., в одежде, еде, повседневных поведенческих стереотипах), изучения русского языка во всех его ипостасях (любопытно, что Шишков, при всей своей приверженности «высокому стилю» церковнославянского языка, одним из первых начал собирать народные песни, видя в них потенциальный источник для литературного языка), патриотизм, включающий культивирование национального чувства и преданность самодержавной монархии, борьба с галломанией и космополитизмом («граждан света» Шишков причислял к «роду животных», «извергов», по его словам, космополиту «один ад стал бы... рукоплескать») – таковы основные составляющие национализма в православно-патриотической трактовке, данной Шишковым.

Представляется, что именно Шишков одним из первых в русской национальной мысли высказал убеждение в необходимости если не тождества, то максимально возможного сближения церковной и светской культурных традиций (в т. ч. и языковых), в необходимости опоры культуры на Священное Писание. Подобное убеждение стало, в конечном итоге, одной из магистральных линий русской консервативной мысли.

С 1805 г. издаются «Сочинения и переводы», где Шишков, наряду с оригинальными и переводными произведениями, поместил свой перевод «Слова о полку Игореве» с обширными комментариями. С февр. 1807 г. по инициативе Шишкова стали собираться литературные вечера, которые с 1810 г. стали публичными и получили назва-

ние «Беседы любителей русского слова», где, по свидетельствам современников, обсуждались не только вопросы литературы, но и общественно-политические проблемы, волновавшие тогда всю мыслящую Россию. Среди них были Г. Р. Державин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. С. Хвостов и др. Практически все члены общества были сторонниками самобытности русской культуры. Деятельность «Беседы» продолжалась до 1816 г., не ограничиваясь лишь вопросами и проблемами культуры. Целью «Беседы» было укрепление в русском обществе патриотического чувства при помощи языка и словесности. «Беседа» издавала собственные «Чтения в Беседе любителей русского слова», где публиковались в основном сочинения Шишкова, такие как «Рассуждения о красотах Святого Писания», «Разговоры о словесности» и «Прибавление к разговорам».

В 1811 г. была написана работа Шишкова «Рассуждение о любви к Отечеству». В ней Шишков вновь резко критиковал галломанию и космополитизм русского общества. На сей раз взгляды Шишкова оказались востребованы высшей властью и обществом. «Рассуждение» обратило на Шишкова внимание Александра I. 9 апр. 1812 г. Шишков был назначен на пост государственного секретаря, вместо М. М. Сперанского, которого постигла опала. На этом посту Шишков должен был находиться при императоре в качестве личного секретаря для составления манифестов, указов и др. бумаг канцелярии Александра. Манифесты, написанные Шишковым, зачитывались по всей России. Фактически он блестяще выполнил

роль своего рода главного идеолога Отечественной войны 1812 г.. Его манифесты, являясь откликами на все важнейшие события, поднимали дух русского народа, усиливали и укрепляли его патриотический дух, поддерживали в тяжёлые дни поражений. Впоследствии Шишков собрал их и выпустил отдельным сборником.

По окончании войны в дек. 1812 г. Шишкову был пожалован орден св. Александра Невского за «примерную любовь к Отечеству». В 1813–14 гг. Шишков сопровождал русскую армию в заграничном походе. В авг. 1814 император освободил Шишкова от должности государственного секретаря по состоянию здоровья. Одновременно Шишков был назначен членом Государственного совета. Кроме того, Шишков был назначен в 1813 г. президентом Российской академии наук (до 1841 г.). На этом посту Шишков ратовал за то, чтобы Российская академия стала базой для развития отечественных наук и просвещения, центром русской духовности и патриотизма. Кадровая политика Шишкова в Академии состояла в том, чтобы собрать в неё всех национально мыслящих русских учёных. В 1818 г. по его предложению был избран членом Академии Карамзин, политические взгляды и литературные вкусы которого к тому времени существенно сблизились с шишковскими под влиянием занятий русской историей. Кроме того, Шишков уделял большое внимание развитию филологической науки. В своих трудах он доказывал, что все языки имеют один общий корень, исходящий из славянского языка. Поэтому заимствования из иностранных языков нелепы и недопустимы, т. к. в русском языке всег-

да можно найти замену иностранному слову. Шишков одним из первых осуществил попытку организовать кафедры славяноведения при российских университетах, создать славянскую библиотеку, в которой бы были собраны памятники литературы на всех славянских языках и все книги по славяноведению, вёл переписку со славянскими учёными.

Одновременно Шишков активно выступал против деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения и Российского Библейского общества и возглавлявшего их масона кн. А. Н. Голицына, который являлся, по его мнению, одним из виновников упадка нравственности, «разгула свободомыслия» и антиправославного мистицизма в России. В 20-е годы XIX в. Шишков был членом Верховного суда над декабристами и, будучи человеком милосердным, выступил за некоторое смягчение наказаний для государственных преступников, что, однако, во внимание принято не было.

Стараниями Шишкова 10 июня 1826 был принят новый устав о цензуре (на либеральном жаргоне – «чугунный»). Согласно этому уставу запрещались все исторические сочинения, если в них оказывалось неблагоприятное расположение к монархическому правлению, запрещались любые попытки прямого или косвенного оправдания каких-либо государственных возмущений, специально оговаривалось запрещение сочинений Руссо, Дидро, Монтескьё, Гельвеция и др. французских «просветителей». Авторам вменялось в обязанность выводить «спасительные поучения» из рассказов о революции и обнаруживать благоприятное расположение к монархическо-

му правлению. Устав, направленный прежде всего против распространения революционных и мистических идей, вызвал недовольство в либерально-масонских кругах. В 1828 г. шишковский цензурный устав был ослаблен. Политические убеждения и литературные интересы Шишкова заставляли его принимать близко к сердцу вопросы народного просвещения. Отсутствие национального духа было источником ложного направления всей русской послепетровской культуры. Главную задачу воспитания Шишков видел в том, чтобы вложить в душу ребёнка «огонь народной гордости», «огонь любви к Отечеству», и это могло бы обеспечить, с его точки зрения, только воспитание национальное, развивающее знания на родной почве, на родном языке. Народное образование должно быть национальным – такой был основной идеал Шишкова. Новая учебная система должна была основываться на следующих принципах: «Воспитание народное во всей империи нашей, несмотря на разность вер, ниже языков должно быть русское... Все науки должны быть очищены от всяких не принадлежащих к ним и вредных умствований. Излишнее множество и великое разнообразие учебных предметов должно быть разумно ограничено...» Предпочтение должно было отдаваться преподаванию русского языка, отечественной истории и права. «Устав гимназий и училищ уездных и приходских», утверждённый окончательно 8 дек. 1828 г., считался одним из главных плодов шишковского министерства. В отличие от либерального устава 1804 г. в основе нового устава лежала идея сословного образования. На посту министра народного

просвещения Шишков пробыл 4 года. В к. апр. 1828 он был освобождён от этой должности «по преклонности лет и по расстроенному здоровью», сохранив звание члена Государственного совета и Президента Российской академии.

В последние годы жизни он занимался ещё своими филологическими изысканиями и др. трудами, но

деятельность его постепенно угасала. Он был похоронен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге.

Шишков был активным публицистом, честным политическим деятелем. Пушкин оставил о Шишкове чеканные строки:

*«Сей старец дорог нам: друг чести и народа,
Он славен славою двенадцатого года».*

Идеи Шишкова оказали значительное влияние на литературу, просвещение, политику, идеологию. Несомненно, знаменитая уваровская формула: Православие,

Самодержавие, Народность восходит к идеям Шишкова. Русский патриот Шишков по праву может считаться одним из великих людей своего времени.



Мысли вслух на Красном крыльце графа Ф.В. Ростопчина^[1]

Дворянин Сила Андреевич Богатырёв, кавалер Георгиевский и Владимирский, приехал в Москву для разведания о двух сыновьях, брате и племяннике, кои служат на войне. Отпев молебен за здравие Государя, отстояв набожно обедню в Успенском соборе, сел на Красном крыльце и стал думать вслух так.

Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву, и плюнув, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай во ад или восвойся – всё равно; только не будь на Руси.

Ужели Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила и богатила всякую дрянь заморскую, а ей кормилице и спасибо никто не скажет: бранят все, не на живот, а на смерть.

Придёт француз с виселицы – все его наперехват; а он ещё и ломается, говорит: либо принц, либо богач, за веру и верность пострадал. А сам собака холоп, либо купчишка, либо подъячий, либо поп-расстрига, от страха из своей земли убежал. Поманерится недели две, да и пустится – либо в торг, либо в воспитание, а сам и грамоту-то плохо знает.

Господи помилуй! Да как же предки наши жили без французского языка, а служили верою и правдою Государю и Отечеству; не жалели крови своей, оставляли детям в наследство имя честное, и помнили заповеди Господни и присягу свою; за то им слава и Царство небесное!

Господи помилуй! Чему детей нынче учат? Выговаривать чисто по-французски,

вывёртывать ноги и всклокачивать голову. Тот и умён, и хорош, которого француз за своего брата примет. А впрочем, хоть иконы обдери! И понять нельзя, что врут и что делают; всему своё название: Бог помочь – бонжур; отец – монсье; старуха мать – маман; холоп – монами; мошна – ридикюль. Сущие дети и духом и телом – так и состарятся!

Господи помилуй! Только и видишь, что молодёжь, одетую, обутую по-французски, и словом, и делом, и помышлением французскую! Отечество их на Кузнецком мосту, а Царство небесное – Париж. Родителей не уважают, стариков презирают; и быв ничто, хотят быть всё. Старухи и молодые сошли с ума; всё стало каша кашей! – бегут замуж за французов и гнушаются русскими; одеты, как мать наша Ева в раю: сущие вывески торговой бани либо мясного ряду! Ох, тяжело! Дай Боже сто лет здравствовать Государю нашему! – а жаль дубины Петра Великого! Взять бы её хоть на недельку из Кунсткамеры, да выбить дурь из дураков и дур. Господи, помилуй, согрешил, грешный!

Господи, помилуй! Всё по-французски, всё на их манер. Пора уняться! Чего лучше быть русским? Не стыдно нигде показаться: ходи нос вверх, есть что порассказать.

Кому детей своих вверяем? Ну не смешно ли нашему дворянину покажется, если б русский язык в такой моде был в иных землях; и если б псарь Климка, повар Абрашка, холоп Вавилка, прачка Грушка и непотребная девка Лушка стали воспитывать благородных детей и учить их доброму! А вот, с позволения сказать, этак у нас лет тридцать как завелось и не выводится. Дожить, ей-Богу, до беды!

Господи помилуй! Да чего отцам и

[1] Современник А.С. Шишкова. Во время войны с Наполеоном 1812 г. был генерал-губернатором Москвы и своими пламенными воззваниями поднимал дух соотечественников.

матерям хочется? Чего у нас нет? Всё есть или быть может. Государь – милосердый; дворянство – щедрое; купечество – богатое; народ-трудолюбивый.

Да что за народ эти французы? Копейки не стоят, смотреть не на что, говорить не о чем. Врёт чепуху! Ни стыда, ни совести нет: языком пыль пускает, а руками всё забирает. За которого ни примись, либо философ, либо римлянин, а всё норovit в карман: труслив, как заяц, шkodлив, как кошка. Во французской всякой голове ветряная мельница, госпиталь и сумасшедший дом! На делах они плутишки, а на войне разбойники. Два лишь правила у них: Всё хорошо, лишь бы удалось; что можно взять, то должно прибрать.

Вишь, что проклятые наделали в эти двадцать лет! Всё истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, потом спорить, браниться, драться. Ничего на месте не оставили! Закон попрали, храмы осквернили, царя казнили! Головы рубили, как капусту. Думали, что будет равенство и свобода, а никто не смел и рта разинуть.

Мало показалось своих резать, стрелять, топить, мучить: опрокинулись к

соседям, и начали грабить и душить, приговаривая: после спасибо скажете! А там явился Бонапарт, и всё замолчало.

Чему дивоват! Жарко натопили, да скоро закрыли; революция пожар, французы головешки, а Бонапарт кочерга. Вот оттого-то и выкинуло из трубы. Он и пошёл драть: Италию разграбил, двух королей на острова отправил, цесарцев обдул, прусakov донага раздел и разул. А всё мало! Весь мир захотел покорить. Что за Александр Македонский! Мужичишка в рекруты не годится, ни кожи ни рожи, ни виденья; раз ударить, так и след простыл, и дух вон. А он-таки лезет вперёд – да уж и на русских! Ну, милости просим! Думал потешными своими удивить, а наши армейские так их потешили, что только образцовых пустили живых.

Радуйся, царство Русское! Всемирный враг богатырской твоею силою истребляется. Он пришёл, как алчный лев, хотел всё пожрать. Теперь бежит, как голодный волк – только озирается и зубами пощёлкивает. Не щади зверя лютого, тебе слава и венец, ему срам и конец. Ура, русские! Победа пред вами, Бог с вами, Россия за вами.

**Николай Лесков (1831-1895) -***русский писатель и публицист, мемуарист*

Христос в гостях у мужика

Рождественский рассказ

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, – я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и передам его же словами.

Наше место посёлённое, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую (То есть герой принадлежит к староверам). Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимофей Осипов прибыл к нам в

молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение – об этом по нашему положению, щадя человека, не спрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти всё его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию создателя, грех сего безумия не до конца совершился – Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первоигильдейных купцов сослан он к нам на поселение. Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью ещё жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома,

и батрак да батрачка только его и видели, а дома он всё книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришлись мы друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначально не очень меня к нему пускали. Он им мудрён казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришёл. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, – весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки – гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего ещё надо?

Кажется, всё прошлое горе позабыть можно, но он, однако, всё-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоём в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:

– Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен? –

– В каком, – спрашивает, – это смысле?

– Имеешь ли всё то, чего в своём месте лишился? А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился.

– Ты, – говорю, – брат, меня прости, что я так спросил... Я думал, что лихое давно... минуло и позабылось.

– Нужды нет, – отвечает, – что оно давно... минуло – оно минуло, да всё-таки помнится... Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользуется. Я и задумался, так как во всём его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит... Он это заметил и говорит:

– Что ты теперь думаешь?

– А так, – говорю, – думаю что попало.

– Нет: ты это обо мне думаешь.

– И о тебе думаю.

– Что же ты обо мне, как понимаешь?

– Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твоё гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает:

– Ты святое слово проводить не сведущ.

– Это, – говорю, – твоя правда, я не сведущ.

– Не сведущ, – говорит, – ты и в том, какие на свете обиды есть. Я и в этом на его сдание (сдание – ответ, возражение.) согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, – и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

– Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, – говорит, – как другу моему откроюсь.

Я говорю:

– Если это тебе может стать на пользу – откройся.

И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свёл горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.

– Разве, – говорит, – всё это можно простить? Я его в жизнь не прощу.

– Ну да, – отвечаю, – обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили* и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать. (См.: Евангелие. Деяния Святых апостолов, 2:23.)

А я по простоте своей ответил ему просто.

– Тимоша, – говорю, – ты умник, ты начитан и всё знаешь, и я против тебя

по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не всё разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете всё ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом – яснее стоит. Там надо всем блистает. «Возлюби, да прости»*, и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чём же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине? (* См.: Евангелие от Матфея, 5:44.)

Он молчит. Тогда я положил в уме: «Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

– Последуй, – говорю, – лучше сему, а не отомстительному обычаю. А он пошёл приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить якобы всё равно что зло приумножить. Я на это упрровергать не мог, но сказал только:

– Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят»*. Ты, – говорю, – ополчись на себя. Пока ты зло помнишь – зло живо, – а пусть оно умрёт, тогда и душа твоя в покосе жить станет. (* Цитата из Библии в древнерусском переводе (Екклесиаст, 12:12).)

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко: – Не могу, оставь – мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло ещё шесть лет, и во всё это время я за ним наблюдал и видел, что всё он страдает и что если пустить его на всю свободу, да если он достигнет где-нибудь своего дядю, –

забудет он всё Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своём я был покоен, потому что виделся мне тут перст божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасёт Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

* * *

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трёх детей и жил прекрасно.

Любил он особенно цветы розы и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Всё место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розы и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился. Таким точно порядком пришёл он раз сюда и взял с собою Евангелие. Пооглядел розы, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать.

Читает, как Христос пришёл в гости к фарисею* и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошёлся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилось чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:

– Гляжу, – говорит, – вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой

ценности и унижении... И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и всё вокруг меня стало розовое, даже самые мои слёзы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б ты ко мне пришёл – я бы тебе и себя самого отдал». (* См.: Евангелие от Луки, 7: 36,44.)

А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:

– Приду!

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:

– Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

– Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании? А Тимофей говорит: В Писании есть: «Всё тот же Христос ныне и вовеки»*, – я не смею не верить. (* Евангелие. Послание к евреям Святого апостола Павла.)

– Что же, – говорю, – и верь. – Я велю что день на столе ему прибор ставить.

Я плечами пожал и отвечаю:

– Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю, но только не гордо ли это? – Сказано, – говорит, – «сей грешники приемлет и с мытарями ест»*. (*См.: Евангелие от Матфея, 9: 11, от Марка, 2: 16, от Луки, 5:30.)

– А и то, – отвечаю, – сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы ты взошёл в дом мой»*. Мне и это нравится. (* Евангелие от Матфея, 8: 8.)

Тимофей говорит: – Ты не знаешь.

– Хорошо, будь по-твоему.

* * *

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек – он, да жена, да трое ребятишек, – всегда у них шестое место и конце стола почётное, и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не всё открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова и розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье – но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и ещё были его ожидания: на всякий праздник Тимофей всё ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь своё обещание сдержит – придёт.

Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, говорит, я молю: «Ей, гряди, Господи!» – и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряди скоро!»» (* Евангелие. Откровение Святого Иоанна Богослова, 22:20.)

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:

– Брат любезный, завтра я дождусь Господа. Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил: – Какое же ты имеешь в этом уверение?

– Ныне, – отвечает, – только я помо-

лил: «Ей, гряди, Господи!» – как вся душа во мне всколыхнулася, и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряди скоро!»

Завтра его святое Рождество – и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

– Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чём этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек – мы к тебе придём. А ты если уповательно ждёшь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество.

– Понимаю, – отвечает, – и сейчас пошлю служающих у меня и сына моего обойти сёла и звать всех ссыльных – кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость – пожалует, так встретит всё по заповеди. Мне и это слово его тоже не нравилось.

– Тимофей, – говорю, – кто может учредить всё по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если всё это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придёт, он всё, чего не достанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам приведёт.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьёй, попозже, как ходят на званный стол. Так он звал, чтобы всех дожидаться. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест – и российские, и поляки, и чухонской веры.

Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые ещё с прибытия не

оправились на своём хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалось, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратились, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась мятьель и вьюга, как светопреставление. Одного только гостя нет и нет – который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждём в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Всё упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».

Прошла ещё минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:

– Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб его встретить. Будь о всём воля Божия: помолимся и сядем за стол. Я отвечаю:

– Читай молитву. Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите*, Христос на земли...» (* Срящите – встречайте.)

И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже всё зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылись настежь.

Все люди, сколько тут было, в нео-

писанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, – неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперёд в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнём – такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой с надворья рвёт, а огня не колышет... И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи. Тимофей как увидал это, вскричал:

– Господи! Вижду и приму его во имя твое, а ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. – Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух:

– Вонмем*: Христос среди нас! (* Вонмем – слушайте (буквально: восслушаем). А все отвечали:

– Аминь, – то есть истинно.

Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать – только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был враг Тимофея – дядя, который всего его разорил.

В кратких словах он сказал, что всё у него прошло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и про-

силь у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту мять сбилс с пути и, замерзая, чаял смерти единой.

– Но вдруг, – говорит, – кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моём месте и поешь из моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе. А Тимофей при всех отвечал:

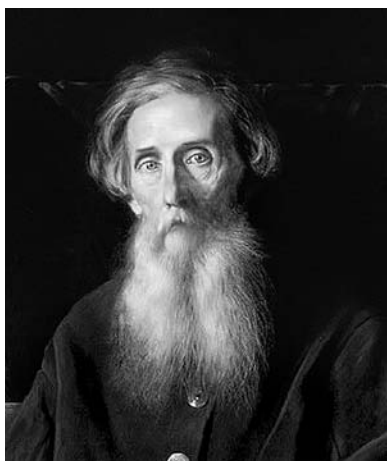
– Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой – ухлеби его, аще жаждет – напой его»*. Сядь у меня на первом месте – ешь и пей во славу его, и будь в дому моем во всей воле до конца жизни. (* Евангелие. Послание к римлянам Святого апостола Павла, 12:20.)

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своём.

Так научен был мужик устроить в сердце своём ясли для рождённого на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обиравшим вас»*. Христос придёт в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. (* Из заповедей Христа, обращённых к апостолам и народу Иудеи (Евангелие от Матфея, 5:44, и от Луки, 6:27).)

Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

Текст святочного рассказа взят из книги: Серебряная метель. Большая книга рождественских произведений. Сост. Т. В. Стрыгина. Художник А. Кольцов. М.: Никея, 2015. – 592 с.: ил. – (Рождественский подарок).



Владимир Даль (1801-1872) -

*русский писатель, этнограф и лексикограф,
собирающий фольклора, военный врач*

Фома с Ерёмой Москву смотрят

«Ах ты, матушка Москва, православная, белокаменная, златоглавая, хлебо-солёная, словоохотливая! Кто в Москве не бывал, красоты не видал», – говорит народ.

Фома с Ерёмой слушают да себе на ус мотают, и разобрала их охота Москву посмотреть.

Что далеко ходить? Взобрались кое-как на соседние сосны, глядь-поглядь, а Москвы не видать! До ночи просидели, глаза просмотрели, а Москвы не наглядели. Вот вздумали, сгадали, в путь собрались – московского хлеба-соли поесть, на белокаменную посмотреть да её словоохотства послушать.

Шли, шли, пришли в какой-то город; а город затейный, что ни дом, то съестной да питейный.

– Это, что ль, Москва? – крикнул Фома.

– Куда тебе Москва! до матушки Москвы ещё два дня ходу, – молвил мужичок с возу. – а вы в Москву, что ли?

– В Москву.

– Так садитесь, нам по пути; мы – сосновские, везём в Москву овёс.

Ладно.

Сели, поехали; долго ли, коротко ли ехали, а на другой день чем свет уж и в Москве.

Стали сосновские на базаре, Фома с Ерёмой пошли хлеба-соли отведать. Походили, походили, никто в гости не зовёт. Вот завидели пирожника с лотком – пирожник бежит по морозу да покрикивает:

– Вот пироги у нас горячи:

Берут купцы, едят подьячие!

Вот – с печёнкой, вот – гусачьи;

Вот пироги из печи горячи,

Кипят, преют, на жару спеют,

Шипят, кипят, чуть не говорят!

Наши братаны к пирожнику: «Хлеб да соль!» а им в ответ: «Ешь, да свой!»

Почесали затылки, пошли в красные ряды сладкой мезги^[1] покупать, а их сидельцы на смех подымают: такого-де товара мы покои века не видали!

Нечего делать, пошли Фома с Ерёмой по городу шататься, московских сластей искать. Зашли на площадь, что сплошь

[1] Мезга – густой сок сосны, который осенью твердеет.

белым плитняком вымощена, узорчатой решёткой огорожена.

Фома с Ерёмой обрадовались, думали, что тут базар есть, взбежали на паперть, захлопали рукавицами, да как заорут:

Тут, что ли, сосновские мужики овёс ссыпают?

Вот народ на них и вскинулся:

– Что орёте, а шапки не ломаете? А что, – спросили братаны, – аль староста тут?

Эх вы, дураки, не видите, что в собор вошли? Взяли их под руки, вывели из церкви да показали Ивана Великого.

Ослепли, что ль, друзья, не видите, что в Кремль задались?

– Батюшки-светы, высь-то, высь какая! – вскрикнули Фома с Ерёмой. – И как это крест на макушку воткнули?

– Эх вы, – сказал служивый, – и по бороде знать, что лопатой звать. Вестимо, как ставили: нагнули да и воткнули!

– Ой ли? Ай да москвичи! – молвили братаны и разинули рты.

– Глядь-ка, глядь, Ерёма, ведь на кресте-то наша ворона, – и стали пугать да на ворону махать.

А ворона ни гугу, знать дураков своими не признала. Народу собралось около Фомы с Ерёмой видимо-невидимо и стали их на смех подымать. Подошёл ещё тутошний московский дурак, поглядел на дураков, плюнул, да и говорит:

– Эка-де невидаль!

Вот в сумерках сосновские повстречали Фому с Ерёмой:

– Здорово, – говорят.

– Здорово.

– Что, чай, всё сайки да калачи с пирогами ели да медком запивали?

Замотали Фома с Ерёмой головами и стали отплёвываться:

– Вот-де, сказывают, Москва сластёна, всего у неё вдоволь, только что птичьего молока нет; ан Москва бьёт с носка – накормили нас таким добром, что о сю пору на сердце мутит, с души прёт!

– Как так? – спросили сосновские.

Вот и стали братаны про всё сказывать: как они ждали среди улицы угощения, московского хлеба-соли, как, не дождавшись, пошли сами на свой грош промышлять, сластей добывать; Ерёме-де приглянулась белая масляная палочка, Фома облюбовал себе пряник в полкирпича; присели на камень да тут же и закусили, и не успели всего съесть, как ик с московских гостинцев с души скинуло. А гостинцы вот какие: Ерёма съел сальную свечу, а Фома – брусок серого мыла; они на своей деревне ни свечи, ни мыла отроду не видывали.

– Дураки, – молвили им сосновские, – вольно же вам свечи да мыла не признать!

– Ведь мы люди неграмотные, едим пряники неписанные, – отозвался Фома, что был побойчее.

В гостях хорошо, а дома лучше, – собрались братаны идти восвояси. Вот, идучи путём-дорогой, заприметил Ерёма тучу.

Глянь-ка, Фома, какая беда, – говорит Ерёма, – ведь градовая туча несётся! – А сам, что осиновый лист, трясётся.

– Ну какая там беда приснилась? вишь, дурак, тучи испугался!

Да ведь град пойдёт, нас побьёт!

– Какой град, дождь будет.

– Ан, град!

– Ан, дождь!

– Нет, град!

– Нет, дождь!

Тут Фома озлился:

– Не хочу говорить с дураком, – да хватать Ерёму кулаком.

А наш Еремей сам не ротозей, сам сдачи дал.

Ни град, ни дождь нейдёт, а у Фомы с Ерёмой кровь из носу льёт!

– Хоть рыло в крови, да наша взяла, – говорит Фома, а Ерёма про себя думает: «Худой мир лучше доброй драки, не всё таской, ино и лаской».

Вот так-сяк братья промеж себя поладили, встали и пошли. Долго ли, коротко ли шли, видят: стоит деревня. Фома и говорит:

– Придём в деревню, бабы поставят нам молока, знатно похлебаем!

Ерёма облизнулся, да и примолвил:

– А я в молочко хлебца покрошу!

– Нет, не кроши!

– А вот покрошу!

– Не кроши, тебе говорят, молоко проквасишь!

– А вот же покрошу! – сказал Ерёма.

Фома вцепился брату в волоса – славно друг дружку оттаскали.

Пришли они в деревню, а молока им никто не дал; пока они дрались, хозяйева всё сами поели.

Александр Осыков, г. Белгород

Красой земною очарован,
Душой наивен и беспечен,
Живу легко и бестолково,
Как будто я и вправду вечен.
Красы земной очарованье
В душе так хочется сберечь мне –
Ведь с ней всё ближе расставанье,
А с вечностью всё ближе встреча.
И не дано пути иного –
Пройду по самому по краю –
За всё, что было в сердце злого,
Пред вечностью смиренно каюсь.
Пусть время тяжестью свинцовой
Легло на сгорбленные плечи...
Душа давно уже готова
Лететь Всевышнему навстречу.
Она нашкодившим ребёнком
К Отцу небесному вернётся,
Спев о земном тепло и звонко,
Со светом вечности сольётся...
А люди скажут: бестолково
Он жил, наивный и беспечный.
Так много было в нём земного,
А он твердил всё: вечность, вечность...

Народу свыше дан язык,
Как тайный дар, как Божья мета,
И лишь иссякнет сей родник –
Народ бесследно канет в Лету.

Ведь человеческая речь –
Народа плоть, его основа,
И чтоб Россию нам сберечь,
Беречь родное надо слово.

Живым завещано хранить
Во имя общего спасенья
Язык – нетленных мыслей нить,
Связующую поколенья.

Чтоб до конца вселенских дней
Их разговор в веках бы длился –
За упокой души твоей
По-русски кто-нибудь молился...

Это ведомо многим,
У кого не спроси:
Дураки да дороги –
Две беды на Руси.

Но секрет сей неведом:
Почему в грозный час
От врага эти беды
Русь спасали не раз?

Наш простор неуютный
Был залогом побед.
Сколько врагов лютых
Здесь сломали хребет.

То холмы, то овраги,
То не видно ни зги...
Нету в сердце отваги?
Восвояси – беги!

Было так... Так и будет!
Чужаку не понять,
Как, лишь веруя в чудо,
Можем мы побеждать!

Как, отринув земное,
В гнев грозен и рьян,
Становился героем
Простофиля Иван.

Жизнь отдаст не за грош он.
Царство Божье – взамен,
Так как сказано всё же:
Нищий духом блажен.

Помня наши победы,
Понимаешь ясней:
Современные беды
Прежних бед пострашней.

Нынче всё на продажу.
Грех любой нам – пустяк.
А про честного скажут:
Не дурак – так чудак.

Правят бал негодяи.
Позабыто родство.
Мы навеки теряем
Русских душ естество.

Вот и мы поумнели.
В чудо верим с трудом.
В те края, где сытнее
Едем, кинув свой дом.

Но милей и дороже
Мне во веки веков,
Русь, твоё бездорожье –
Край святых дураков!

Я – земной. Я однажды умру.
И душа, отделившись от тела,
Полетит в небеса неумело,
Замерзая на встречном ветру.
И Отца голос, тих и далёк,
С согревающей душу тревогой
О птенце, позабывшем дорогу,
Мне шепнёт: «Ты вернулся, сынок».

Виталий АЙРИЯН, г. Москва

СМЯТЕНИЕ СВ. ПЕТРА

Ночь и костёр. И Пётр, как в огне.
Лихие тени мечутся в окне.
Старуха тычет скрюченным пестом:
"Не ты ли был на площади с Христом?"
И страха лёд, и горла полынья,
и третий раз чуть слышное: "Не я"

Кровит рассвет. Кривясь, шипит лоза.
Глас из окна вещает: «Ты сказал.»
Кричит петух за каменной стеной.
Раздвинул створки синий аналой,
и из небес волшебного нутра
спустился ангел по слезам Петра.

ГЕФСИМАНИЯ

Он пришёл не один, но оставил друзей
перед входом в пространство незримого храма.
Он прошёл босиком по росистой траве,
неказистый учитель сынов Авраама.

Освещала луна непослушных волос
седину и ползущие складки хитона.
Он упал на траву, задыхаясь от слёз,
чтоб земля помогла удержаться от стога.

Спал апостольский пост пьяным утренним сном
под горящим кустом той оливковой рощи,
и пророчества тень от горы Елеон
превращала тела в бессловесные мощи.

Его голос шептал в предрассветном саду
об Отце и о чаше в преддверии чуда.
И стоял за спиной, и молился в бреду,
и заламывал руки послушный Иуда.

Лариса МОРОЗОВА, г. Москва

В Галилее трава шелко́вая,
Море ласковое у ног,
Горизонт голубой подковою
И тропы золотой выюнок.

Пахнет лаврами и вербеною
Ветер, нежащий облака,
И течёт тишина блаженная
На холмистые берега.

Хорошо со звездой внимательной
Среди сонных шагать полей
В Назарет, засидевшись затемно
С разговором у рыбаей;

И, счастливым покоем знания
Преисполнившись от земли,
Просто следовать за призванием,
Оставляя следы в пыли.

АПОКРИФ ДЕРЕВА

Быть не может, чтобы Иосиф
Не учил сына ремеслу,
Что, ребячьи дела забросив,
Не вставал он порой к столу,
Где светились медово стружки –
С малолетства его игрушки,
Где и сам он смолой пропах,
Помогая пригнать друг к дружке
Части ладные на шипах.
Наводил на поверхность глянец
Под размеренный разговор
И, ссадив ненароком палец,
Умываться бежал во двор.
Ну, а где-то все эти годы
Ждало древо такой породы,
Что и время его не ест...

Может, в горестный день исхода
Думал он, что на совесть кто-то
Делал этот тяжёлый крест?
Не родной ли древесный запах
В смертный час ощутил он вдруг,
В свежеструганых крепких лапах
Возносимый для крестных мук...
Милосердного омовенья
Ждал, не чуя прикосновенья
Злых шипов своего венца –
И, как мальчик босой когда-то,
Рад был, что ещё до заката
Возвращается в дом отца.

Сергей ТАШКОВ, г. Белгород

Всё чаще мне мерещится дорога –
старинная, без рельсов и столбов.
И облако над ней как выдох Бога,
и мягкий свет заката как любовь.

Ни годы, ни века над ней не властны,
и в тех пределах стелется стезя,
где старые дела уже напрасны,
а новые начать ещё нельзя.

Смиранный странник, выхожу и знаю:
меж небом и землёю нищ и наг,
я – блудный сын, а путь – к родному краю,
и трудно сделать только первый шаг...

Когда над выжженным жнивьем
мирских усобиц дым стелился,
монах безвестный за неё
в безвестной пустыньке молился.

Когда расстрельного конца
сгущались тучи над поэтом,

он жёг глаголами сердца,
хотя и сам сгорал при этом.

Светлела Русь, когда без сил
уже от дурости начальей,
Левша в предсмертии просил –
не чистить ружья кирпичами...

И я люблю Россию ту,
в которой мирно, христиански,
светились окна за версту
дворянских гнёзд и гнёзд крестьянских;

Россию с храмовой свечой;
с той песнею, что как бы стонет.
За то, что зная – что почём,
Русь учит нас ценить – простое;

За сказки Пушкина, их соль;
костёр есенинской рябины,
За то, за сё... Люблю – и всё,
пусть даже не было причины.

В домишке ветхом печь топлю,
готовлю корм домашним птицам.
Свою губернию люблю
за равнодушие к столицам.

Заботы стройки: день ко дню –
кладу кирпич, доску строгаю.

По вечерам за болтовню
устало радио ругаю.

Душе одно и надо знать –
в Москве, Терновке или Риме –
как Богу Богово отдать...
а кесарь сам своё отнимет.



Марина Петрова –
кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник
Государственной Третьяковской галереи

«Великий провидец времён минувших»

19 марта 1916 г. В.И.Суриков на последних ударах сердца, полусуто-полусерьёзно, тихо произнёс: «Я исчезаю...». Это были последние слова великого художника, мыслителя, пророка, как называли его уже современники. Он мог заглянуть в сакральные глубины исторического прошлого России и предвидеть её приближение к бездне. Он мало писал писем, не вёл дневниковых записей, где мог бы излагать свои мысли, своё понимание, давать оценку происходящему вокруг. Все свои раздумья и переживания он поверял своим полотнам. Там – вся его философия, его боль, пророчество и вера. Он вслед за Бальзаком мог сказать: ««Главные события моей жизни – это мои произведения». Уже современники называли его «великим провидцем времён минувших», но он оказался и «великим провидцем» времён грядущих, оставив в последней крупной своей работе «Посещение царевны женского монастыря» своё пророчество о России и завещание своему народу. В художественных образах, на язы-

ке христианской символики, которым были обязаны владеть все исторические живописцы, Суриков поведал о России, вступающей на свой кровавый путь. И, как все большие мастера в отечественном искусстве, прикасаясь к трагическим эпохальным событиям в судьбе России, Суриков точно так же всегда предлагал путь спасения – через Церковь, через Веру, через Слово Божие. В этом смысле он не был оригинален, а, скорее, традиционен.

Главная и отличительная особенность профессионального русского искусства – заявившее о себе сразу, с самых первых шагов, его духовное начало. И это, несмотря на то, что на фронте Академии художеств, которую Суриков закончил в 1875 г., начертано: «Вольным художествам», т.е. искусству, свободному и независимому от церкви. В немалой степени тому способствовало религиозное сознание самих студентов.

Надо сказать, что Сурикову крупно повезло с педагогом. Учитель Сурикова, выдающийся педагог Академии, воспитатель целой плеяды талантливей-

ших русских художников, П.П.Чистяков в письме к П.М.Третьякову писал «Искусство и религия неразлучны». А несколько позже, развивая и уточняя свою мысль, сформулирует целеполагание художественного творчества: «Искусством, живописью нужно петь, хвалить и славить Бога», к чему и призывал своих учеников.

Такое духовное наставничество Павла Петровича Чистякова было необычайно близко Сурикову, писавшему, в частности, брату: «У нас сокровище есть – вера». И матери, исповедальное: «Наша жизнь тут не навсегда. И привязываться к земному не очень-то крепко надо». А много позже, наставляя собственную дочь, у которой была уже своя маленькая Наташа, писал: «Приучай к молитве девочку. Так крепче будет».

О чём бы ни писал Суриков: о Степане Разине или о суворовском переходе через Альпы, о русских стрельцах или о ссыльном в Березове, об опальной боярыне Морозовой или о «Покорении Сибири Ермаком» в его полотнах с их эпической мощью и величием всегда есть ощущение даже не времени, а эпохи.

Вместе с тем, избирая для себя тот или иной сюжет, который, может быть, действительно имел место в истории, Суриков, точно так же как и его предшественники, никогда не погружался в его событийные недра. Он использовал его только как повод для того, чтобы поднять те проблемы, которыми жило, которыми «болело» современное художнику общество. И здесь также сказалась его приверженность к традиции, зародившейся в исторической живописи ещё с академических времён, утверждаясь и в последующем веке также.

Не о гибели приморского городка говорил в своей знаменитой картине «Последний день Помпеи» Карл Брюллов, а о гибели старого, языческого мира и рождении мира нового, христианского. Именно Брюллову принадлежит первенство в создании именно в этой картине собирательного образа Церкви Христовой. Сам духовный разворот замысла картины, создававшейся в Италии, оказался необычайно актуален для России рубежа 1820-х – 1830-х годов.

Используя евангельский сюжет об Иоанновом крещении, Александр Иванов, гениальный русский художник, также впервые в своей картине «Явление Христа народу» не только раскрывает сакральный смысл происходящего, как духовное очищение человека – покаянием, смывающим с себя нравственную скверну, но и поднимает глобальные духовно-нравственные проблемы человеческого бытия. Они также были востребованы временем, отмеченным противоречивым состоянием русского общества, не устроенного духовно, отвернувшегося от церкви, но алчущего Бога и искавшего Его на путях просвещённого разума.

Писавший ровно через 20 лет свою картину «Христос в Гефсиманском саду» В.Г.Перов не иллюстрирует евангельский рассказ о предсмертной молитве Христа, а в развитие мыслей Александра Иванова впервые в мировой религиозной живописи создаёт образ пограничья между Небом и Землёй, между материей и духом, между Временем и Вечностью.

Подавленный событиями 1 марта 1881 г. – убийством царя Александра II, потрясшем всю Россию до основания, пишет свою картину И.Е.Репин «Иван

Грозный и сын его Иван». Через кровавую сцену, разыгравшуюся в семье Ивана Грозного, раскрывается страшное предвидение художника трагического завершения династии Романовых.

А в картине В.М.Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный» из отдельных подголосков, сливающихся воедино, вдруг зазвучала апокалиптическая нота, вобравшая в себя ощущение автором своего времени как конечного.

Такова особенность русской исторической живописи. Суриков не составлял исключение, откликаясь не на событие, как таковое, а на боль своего времени. Свой путь в искусстве он нашёл довольно быстро. "Приехавши в Москву, – вспоминал он впоследствии, – попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь».

Уже в его знаменитой исторической трилогии очень чётко и достаточно определённо раскрыла себя сама природа искусства мастера, сформулировано его художественное кредо. Именно трилогия и будет в центре нашего внимания.

В первой картине трилогии «Утро стрелецкой казни» Суриков обращается к событиям, которые действительно имели место в истории России. Это – 1698 г., когда Пётр 1 жесточайшим образом подавил второе стрелецкое восстание. Уже в этой картине художник задаёт сразу очень высокий уровень размышлений не только об историческом прошлом страны и народа. И хотя художник поставил на самом дальнем плане виселицы, которыми тогда были заставлены все улицы Москвы, картина всё же повествует не о жестоком подавлении Петром Первым второго стрелецкого бунта. Кстати ска-

зать, когда картина ещё была в работе, заглянул в мастерскую художника Репин. Увидев уже стоящие виселицы, посоветовал, исходя из названия картины, повесить хотя бы одного стрельца, что сам он и сделал в своей картине «Царевна Софья», также повествующей о том времени. Суриков засмущался, не очень-то ему этого хотелось, хотя всё-таки прислушался к совету и «повесил» одного стрельца. На следующий день заглянула в мастерскую нянька и, увидев висельника, упала в обморок. Во избежание подобных неприятностей в дальнейшем, уже при экспонировании картины на выставках, Суриков быстро ликвидировал «самосуд». А несколько позже признавался: «Торжественность последних минут мне хотелось передать, а вовсе не казнь. Тот момент, когда казнь ещё не началась, и кровь ещё не пролилась».

Сама картина сложилась у Сурикова как-то сразу и вдруг. «Однажды еду я по Красной площади, – вспоминал художник, – кругом ни души. Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилося. Почувствовал, что если напишу то, что представилось, то выйдет потрясающая картина. Поспешил домой и до глубокой ночи все делал наброски, то общей композиции, то отдельных групп. Надо, впрочем, сказать, что мысль написать картину стрелецкой казни была у меня и раньше. Я думал об этом ещё в Красноярске. Никогда только не рисовалась мне эта картина в такой композиции, так ярко и так жутко».

Но не о царской расправе пишет

свою картину художник, а о нравственном расколе русского общества. Именно тогда, в ХУП веке, оно разделилось на народ, который держится своих корней, и на малую, но привилегированную его часть, которая во главе с самим царём развернулась на Запад, вплоть до забвения своего родного, русского языка. Эта проблема отрыва от национальных корней бередила общественное сознание. Потому исторические живописцы ХУШ в., обращаясь к сюжетам из античной литературы, а затем все больше и больше из русской истории, из летописей и преданий, из пьес Хераскова и Княжнина, проповедью христианских ценностей как бы напоминали своим соотечественникам об их «крещении и правоверии» (св. Дмитрий Ростовский). И в XIX в. проблема нравственного раскола не утратила своей остроты, а, напротив, усиливалась, особенно на фоне конкретных, порой парадоксальных жизненных реалий.

Один из радетелей о русском народе, декабрист Никита Муравьев-Апостол, сидя в Петропавловской крепости в ожидании казни, занимался ничем иным, как изучением русского языка, которого он не знал.

В 1857 г. была опубликована большая статья К.С. Аксакова «Публика и народ». «Публика наша, – пишет автор, – говорит по французски, а народ – по русски. В соответствии с нормами европейского образа жизни, «публика» вечером едет на бал, а народ, подчёркивает автор, «идёт ко Всенощной». Разумеется, картина Сурикова – не иллюстрация этой статьи. Он выступает здесь как единомышленник Аксакова, полностью разделяя его позицию. И потому сознательно акцентирует в картине эту

дорогу смерти, что ведёт к виселицам, но которая возникает здесь образом пропасти, по разным сторонам которой и оказались «публика» и «народ». В пластической драматургии картины она – как собирательный образ начавшегося Великого раскола, затянувшегося в русском обществе на века. Потому «публика» и «народ» возникают в картине образом двух миров: мир древней, Святой Руси и мир, сотворённый деяниями Петра I, получивший название «Россия молодая». Но художнику мало только одной констатации исторически трагедийного факта. Ему важно дать эти два мира в противостоянии, но противостоянии непримиримом, получившем своё образное выражение в жертвенном гневе рыжебородового стрельца и карающем гневе молодого царя.

Как известно, смертников перед казнью одевали в чистое белое бельё и вручали им горящую свечу. Горит свеча – жизнь продолжается. Потухла – жизнь оборвалась. Потому и положил художник на первом плане свечу того стрельца, которого ведут на казнь. Он ещё жив, через мгновение его жизнь оборвётся. Потому и свеча его уже потушена, но ещё тлеет, а через мгновение и она погаснет. Но для Сурикова гораздо важнее христианский смысл горящей свечи как символ света Христова, который освещает не столько холодную белизну рубаш этих смертников, сколько души этих людей. Отсюда этот нарастающий ритм зажжённых свечей в их руках как образ неизбывного духовного горения русского народа, на стороне которого все симпатии, всё сочувствие и всё сострадание художника.

После «Стрельцов» Суриков хотел сразу приступить к работе

над «Боярыней Морозовой, но, «чтобы отдохнуть, – признавался он, – «Меншикова», начал».

У каждого автора по-своему рождается тот или иной образ. Для Сурикова таким импульсом часто было полученное впечатление от какого-то мало значащего явления. В процессе работы над картиной «Боярыня Морозова», например, таким импульсом стала чёрная ворона со сломанным крылом на белом снегу. А на картину «Посещение царевной женского монастыря», по собственному признанию художника, вдохновила царевна, привидевшаяся ему в храме за богослужением. Однажды, будучи в деревне, художник зашёл в крестьянскую избу, где сидел очень высокий человек. Суриков как-то сразу обратил внимание на то, что из-за очень низкого потолка в доме этот человек никогда не сможет встать здесь в полный рост. Этого впечатления было достаточно, чтобы вынашиваемый художником образ картины «Меншиков в Березове» окончательно сложился. Он также поместил своего героя в деревенскую избу с низким сводом, что не позволит и ему встать в полный рост. Так родился образ ссыльного в Березове, который уже никогда не встанет в свой полный – политический рост, никогда уже не обретёт той свободы действия, того могущества и власти, что были в его руках на протяжении многих лет.

Не судьёй и не адвокатом выступает художник в этой картине. Его историзм проявляется не в погружении в историческое исследование причин и фактов, приведших Меншикова к такому концу. Его мало занимает, как Меншиков прожил свою жизнь. Для него важнее – как он её закончил. И потому в центре вни-

мания художника то духовное преобразование, которое пережил ссыльный в Березове, где на свои деньги выстроил домик и маленькую церковь. Каждый день Меншиков с детьми был в церкви, в которой принял на себя должность дьячка, стал певчим, а ещё и звонарём. Дома заставлял детей читать священные книги, а сам ночью вставал на молитву. Его набожность, смирение, простота поражали жителей Берёзова. А сам развенчанный Светлейший князь, живя жизнью простолюдина, не раз приговаривал: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу». Как писал один из Оптинских старцев: «Меншиков стал настоящим христианином, умер в истинном покаянии, любил читать Псалтирь и часто приговаривал: «Благо мне, яко смирил меня Господь».

На картине Сурикова мы застаём Меншикова не в борьбе за своё освобождение, движимым тщеславием и уязвлённым самолюбием, а в борьбе с самим собой: за чтением книги на все времена при потухшей свече, но с горящей лампадой в Красном углу. Высвечивая потемневшие краски икон, маленький фитилёк согревает своим мягким, тёплым светом металлический блеск серебряных окладов. В общем холодном колорите картины красный угол – единственное тёплое пятно. У этого источника духовного тепла и света и согревает свою душу Меншиков. Так рождается художественный образ картины, освещённый лампадой, что горит как вечная, неугасимая надежда на спасение, даруемое каждому в покаянии. И потому красный угол здесь, пожалуй, главное действующее «лицо». В своём образном существовании он

как пластический парафраз известных слов Христа: «Стою у сердца каждого и стучусь». Художник, вовлекая зрителя в рассматривание своей картины, ведёт рассказ, казалось бы, о конкретной жизненной истории, но в котором достаточно отчётливо просматривается художественная проекция евангельской притчи о нравственной смерти и возможности духовного возрождения даже на кресте.

Замыкает трилогию картина «Боярыня Морозова», в которой Суриков не столько погружается в историю одного из самых сложных периодов в истории Церкви, сколько поднимает проблему возникшего тогда же, в ХУП в., нравственного раскола, последствия которого достаточно остро ощущались в современном художнику обществе.

Каждый исторический живописец, прежде чем приступить к созданию картины, всегда поднимает большой исторический материал, хотя бы для того, чтобы не ошибиться с адресом эпохи. К середине 1880-х годов, времени работы художника над «Боярыней Морозовой», было уже опубликовано несколько работ по истории церковного раскола.

«Раскол, происшедший в русской церкви в XVII в., – писал В.О.Ключевский, – был церковным отражением... нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два мировоззрения, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на почитаемый родной старины и приверженцев новизны, то есть иноземного, западного». Таким

образом, Ключевский и церковный, и нравственный раскол ставит в один ряд, рассматривая их как причину и следствие.

Позже, уже в XX веке, религиозный мыслитель, богослов, философ и историк отец Георгий Флоровский назовет раскол «первым припадком русской беспочвенности, отрывом от соборности, исходом из истории».

Вместе с тем, не следует забывать, что общество, пережившее польскую и шведскую интервенции, страшную катастрофу Смуты, «бунташное время» восстаний Ивана Болотникова, а позже Степана Разина, искало опоры в традиции. В верности следования устоям, прежде всего, – религиозным, что определяло основу основ Русского мира, виделось едва ли не единственное средство спасения своей души. Это – одна из многих причин неоднозначной реакции на церковную реформу Патриарха Никона и среди некоторой части духовенства, и среди народа.

В то же время, сопротивляясь Никоновой реформе, слепо и истово веря в правильность старых обрядов, икон и богослужебных книг, раскольники оставили за собой право считать, что именно им дано: верно трактовать «Писание и Предание», знать, «что есть истина и благо, и таким образом, именно их мнение есть мнение соборной апостольской церкви». Так пишет один из современных историков Русской Православной церкви.

Ещё в студенческие годы, учась в Академии художеств, Суриков, по собственному признанию, увлёкся «первыми веками христианства». Из исторических и «духовных книг», которых, кстати, немало было и в его доме в

Красноярске, он прекрасно знал, что мужество этих «вдохновенных проповедников новой веры, – как он писал, – с их страданиями на крестах и аренах цирков» измерялось не фанатизмом, т.е. не ничем не оправданной жертвой, а смиренным, осознанным преданием себя воли Божией. Такова природа их духовного подвига, которая не только не совпадала, но даже противоречила характеру действий раскольников. Отринув смирение, они собственную волю, собственное понимание выдавали за «мнение соборной апостольской церкви». Проявившаяся своего рода самость оказалась сильнее и превыше духовного закона, что само по себе уже есть отречение от него. И потому сами раскольники обрекли себя, как пишет о.Георгий Флоровский, на изгнание: «прочь из Истории и из Церкви».

Суриков, скончавшийся в 1916 г., уже не мог прочесть этих слов, но как совпадает понимание, оценка самой сути проблемы. С самого начала он прилагал огромные усилия, чтобы добиться эффекта движения саней, но как только добился, сразу же перекрыл им перспективу. Когда в 1887 г. картина появилась на выставке, и художники, и критика сразу же обратили на это внимание и обвинили художника во всех смертных грехах и, прежде всего, в том, что он не владеет композицией. Что же сани по головам, что ли поедут? По сути, его обвинили в непрофессионализме. Это обвинение было тем более несправедливо, поскольку художник, ещё сидя на студенческой скамье, необычайно увлёкся композицией, почему даже и звали его в Академии «композитором». Вообще композиция – одна из самых сильных сторон дарования

Сурикова, умевшего подчинить её своему замыслу, сделать одним из проводников главной идеи картины. А тогда на выставке никто не задумался, не задался вопросом: а почему художник перекрывает движение саней, почему в нарушение исторической правды одевает боярыню Морозову в богатые боярские одежды?

Внешне всё верно, т.к. Феодосия Прокопьевна Морозова по своему отцу – Соковнину Прокопию Фёдоровичу – состояла в родственных связях с первой женой царя Алексея Михайловича, Марией Ильиничной. Муж боярыни Глеб Иванович Морозов был также представителем знатного рода и состоял в родственных связях непосредственно с семьёй Романовых. Элита, можно сказать. Но из опубликованных исторических исследований было также хорошо известно, что боярыня Морозова, пойдя за протопопом Аввакумом, главным противником Патриарха Никона и его реформы, отреклась от всех своих огромных богатств, надев на себя, можно сказать, власяницу.

Всё это было также хорошо известно и Сурикову. Тем не менее, его главная героиня предстала в богатой, бархатной шубе, подбитой дорогим мехом, расшитой золотом и украшенной золотыми пуговицами, чем был подчёркнут социальный статус опальной боярыни. Но уже одним этим художник лишает образ героического ореола и, как следствие, выводит боярыню, лишённую мученического венца, из сонма страстотерпцев, поскольку не за истинную веру пострадала она, но стала жертвой собственной гордыни.

Не случайно художник одевает Морозову в чёрную шубу. Ещё с ака-

демических времён жанр «историческая живопись» понимался достаточно широко. Сюда входили сюжеты мифологические, собственно исторические, библейские и евангельские также. По этой причине все исторические живописцы были просто обязаны знать и мифологическую, и христианскую символику. Правда, в XIX веке античная мифология, которой так увлекался XVIII век, отошла, а вместе с ней отошла и необходимость знания этого языка. А вот христианская символика, напротив, стала всё активнее входить в художественный обиход. Этим языком иносказания, особенно в XIX веке, владели практически все русские художники, независимо от того жанра, в котором они работали.

В христианской символике каждый цвет имеет несколько значений, в том числе и чёрный. В одном случае это – символ полного отречения от всего мирского, почему наши священники и, прежде всего, монахи ходят в чёрном облачении. Но есть у этого цвета и другое значение, являясь символом одного из самых тяжких человеческих грехов – гордыни. Потому и перекрывает Суриков движение саней, потому что нет перспективы у гордыни, нет будущего у духовной смерти.

Вместе с тем Сурикову очень важно показать и неоднозначность реакции народа на боярыню, проезжающую к месту заточения в город Боровск. Многие в картине встречают её смехом и даже с издёвкой, другие сдержанно, третьи – со страхом и отчуждением. Но есть в картине персонажи, которые, напротив, воспринимают её действия как духовный подвиг, а потому сопереживают, сострадают ей. Юродивый,

сидя прямо на снегу, открыто благословляет её двуперстным крестом. Ему, вторя, нищенка, стоя на коленях, с жалостью и сочувствием провожает её. Максимилиан Волошин увидел в эмоциональном образе толпы «трагический душевный разлад», который действительно в картине есть, но рождается он не из отчаяния людей, бессильных помочь страдальце, как утверждал он.

Драматизм суриковских образов возникает из несовместимости естественного порыва сочувствия с мыслью о духовном отступничестве, то есть грехе. Это сложное внутреннее движение человека, в душе которого и сострадание, и страх одновременно, и передал художник.

Как писал он позже: «Выявлялась тёмная душа толпы – сильная и смиренная, верящая в непреложность человеческой справедливости, в искупительную власть земного возмездия». Эта двойственность состояния получила наиболее сконцентрированное выражение в образе странника, выступающего здесь антиподом боярыни Морозовой.

Но как по-разному претворяет эту мысль о толпе Суриков в своей картине. Именно верой в возмездие неистово горят широко открытые глаза Морозовой, извергающей проклятие.

Но здесь же – сбившиеся в кучу люди, сильные своей верой в торжество высшей справедливости, а потому даже самые острые коллизии принимающие в смирении.

Есть во всяком движении человека, «воспитанного в обычных преданиях православного мира», – писал И.Киреевский, философ первой половины XIX в. – даже в самые крутые переломы жизни что-то глубоко спо-

койное, какая-то неискusstвенная мерность; достоинство и вместе смирение, свидетельствующее о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания».

Сурикову, родившемуся и выросшему далеко от столичных городов, в Красноярске, где вся жизнь была ещё пропитана патриархальным духом старины, были очень близки и понятны слова Ивана Киреевского «о глубине и цельности обычного самосознания», которому противоречит несовместимое с ним состояние аффекта Морозовой. Граничащее почти с отрешённостью от жизненных реалий, самым своим нарушением сложившихся веками норм «обычного самосознания», оно усиливает в образном строе картины звучание темы смирения.

В самой интерпретации этой темы смирения художник идёт за В.Г.Перовым. Именно ему впервые в русском искусстве удалось так тонко и очень деликатно прикоснуться к тому, что называется, тайной русской души, т.е. к самому сокровенному в русском человеке – его религиозному самоотречению в терпении скорбей, что означает приятие воли Божией, т.е. смиренное несение креста своего.

Тема смирения предельно концентрируется в образе странника. Странники на Руси не бродяги, а люди Церкви. Странники в своём Богоискании мир обходят стороной, т.е. отрешаются от него. По сути, странники – те же монахи, но только пребывающие в миру. Бремя тяжкое, мало кому посильное и избираемое не столько по своей воли, сколько по промыслу и в послушании. И потому странничество – это образ жизни, который изначально

предполагает нищету, но она – не самоцель, а средство смирения, т.к. «ничто так не смиряет, – писал И.Лествичник, – как пребывание в нищете и пропитание подаванием». Само же смирение есть ничто иное, как самоотречение от собственной воли. Именно такие люди и являют собой пример нищих духом, а само странничество есть зримое воплощение духовной нищеты, вобравшей в себя, по слову И.Лествичника, «недерзновенный нрав, неведомую премудрость, утаиваемую жизнь, ... хотение уничижения, желание тесноты, путь к Божественному вожделению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчания глубины».

В картине Сурикова при внешней эмоциональной сдержанности, погруженный в себя человек с огромным усилием пытается успокоить свой смутившийся дух. Примечательно, что Суриков ставит странника не где-нибудь, а в точно найденном месте, прямо под иконой Игоровской Божией Матери, что венчает вход в церковь. Только горящая лампада и разделяет их. А, может, наоборот, соединяет как символ веры в благодать Провидения, укрепляя нищего духом в терпении и смирении. Этим внутренним духовным разумом, освобождённым из плена страстей, и силён суриковский герой. Именно он и оказывается здесь той нравственной нормой «обычного самосознания», тем собирательным образом смиренномудрия, который, развиваясь в изобразительном решении толпы, фронтально противостоит гордыне Морозовой. Для обоих вера составляет смысл жизни, и оба они отринули мир. Но один в жертве разрывает связь с Богом, а другой, напротив, припадает к нему в смирении.

Смиренномудрие и гордыня – вот главные координаты художественного пространства картины.

Суриков обращается к истории не только потому, что живо интересовался ею, но и как возможности, по его признанию, «понять настоящее». Сама тема церковного раскола не была для него самоцелью, но той сюжетной канвой, по которой художник воссоздаёт ассоциативный образ современного ему общества, расколотого надвое, и тяжело, болезненно переживавшего этот тяжкий недуг. Взаимное отторжение сторон, «публики» и народа, усиливавшееся противостояние гордыни расцерковленного сознания «публики» и смиренномудрия религиозного сознания народа всё более усугубляло разделявшую их пропасть, неудержимо приближавшуюся к критической точке. Именно она в последнем крупном произведении художника «Посещение царевной женского монастыря» (1912) станет отправной в создании провидческого образа России в канун гибели государства.

Историческая трилогия Сурикова, созданная более ста лет тому назад, хоть и повествует о далёком прошлом страны, но она не попала в разряд ретро и тем более не стала иллюстрацией русской истории. Осмысление национальной трагедии, её религиозной природы как трагедии русского национального самосознания и определяет в конечном итоге идею всей трилогии, независимо от места и времени развёрнутого в ней действия. А вот образ действия каждой из её картин всякий раз программно восходил к горящей свече или лампаде. В её литургическом сиянии, ставшим символом, изначально связующим все

три картины в единый образ веры, светилась Русская идея как знак спасения от «исхода из Истории».

Это переживание, внутренняя боль за страну, которая после убийства Александра II жила в ожидании какой-то страшной, чудовищной и неотвратимой катастрофы, необычайно остро ощутима и в автопортретах художника, особенно поздних. Следуя традиции психологического портрета, рождённого искусством Василия Григорьевича Перова, Суриков всегда стремится передать то внутреннее состояние, что вызывает у него размышления по поводу своего времени, больного, духовно неустроенного, взрывного.

В частности в его автопортрете 1913 г. из собрания Государственной Третьяковской галереи в сгущающейся, тревожной темноте фона высвечивается лицо художника, как бы собирая, фокусируя на себе наше внимание. Небольшой белый воротничок очень рельефно подчёркивает лицо, как бы отсекая всё суетное, повседневное, житейское. Взгляд собранный, сосредоточенный и в то же время, даже кажется, отстранённый, словно смотрит на нас художник не из своего времени, а из той дали, что измеряется историческим масштабом и зовётся вечностью. В самом взгляде художника удивительным образом, скажем так, читается его как бы потаённое знание о ближайшем трагическом будущем России. И в этом смысле Суриков оказывается очень близок иконописцу, раскрывающему в иконе сакральный смысл замысла Божьего о мире, о котором уже всё известно: и прошлое, и настоящее, и будущее. Портрет как бы исполнен раздумья художника о надвигающейся

катастрофе. И в то же время согрет прочувствованным, сердечным состраданием к её жертвам.

В глубоком взгляде умных с драматическим отблеском глаз, обращённых на нас, нет осуждения, нет приговора, как нет взволнованности и тем более экс-

прессии, но есть покой и сдержанность, какая-то непростая, нездешняя тишина «молчания глубины». Недаром один из современников писал о Сурикове, что в его «произведениях нет ничего, кроме высшей правды, которая открывается очам поэтов и пророков».



Автопортрет. 1915 г.



Боярыня Морозова. 1887 г.



Утро стрелецкой казни. 1881 г.



Богач и Лазарь. 1873 г.



Второй Вселенский Константинопольский Собор. 1876 г.



Меншиков в Березове. 1883 г.



Посещение царевной женского монастыря. 1912 г.



Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870 г.



Изба. 1873 г.





Покорение Сибири Ермаком. 1892 г.



Голова смеющейся девушки. 1890 г.



Боярышня. 1886 г.



Взятие снежного городка. 1891 г.



Переход Суворова через Альпы в 1799 году. 1899 г.



Коломенское. 1910 г.



Степан Разин. 1906 г.



Икона Страшного суда

ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.

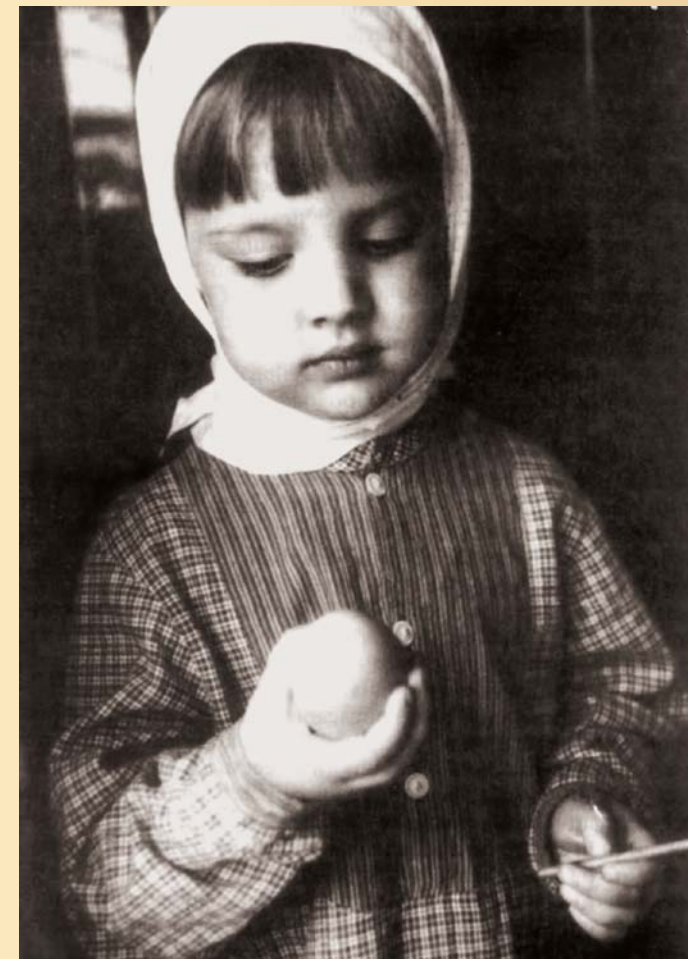
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умиосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк.16,9-31).



Пробуждение

Эй, человечек, человек, человечиче, — остановись!

Не поленись и на день свой вчерашний честней оглянись.

Будто бы разом впились в сердце тысячи жал.

Человек! Ведь ты мимо себя впопыхах пробежал.

Груз предысторий давит веками — ну и пусть!

Совесть спряталась под замками — но ты не трус!

В драке жестокой с ложью и склокой себя обрети

И не робей на тернистом и праведном этом пути.

И возвестит голосище, счастливый в предутренней мгле:

– Я родился! Впервые родился на этой земле!..

О.Н.